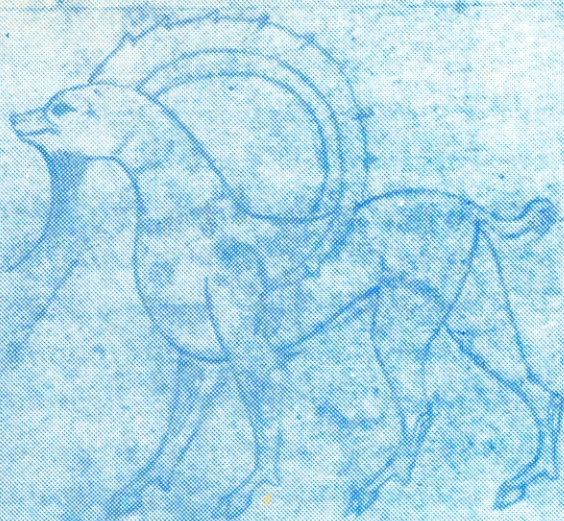


ЛИТЕРАТУРНАЯ РУЗЬЯ

ЛѢТО ПИСАНО БѢСѢСЛЕННЫМЪ ПИСАМЪ: 7 СЪДѢ

СѢДИ



1978-12

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 1978 12

Орган Союза писателей Грузии
ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

КНИГИ, КОТОРЫЕ УЧАТ ПОБЕЖДАТЬ 3

ПРОЗА

- ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Шел человек по до-
роге. Роман 10
- ГУРАМ ГЕГЕШИДЗЕ. Гость. Роман 46

ПОЭЗИЯ

- ИОСИФ НОНЕШВИЛИ 40

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГЕОРГИЙ НАТРОШВИЛИ. Белая
осина 92
- ГУРАМ БЕНАШВИЛИ. Читая «Древо
жизни»... 98

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Ги-
ви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Исидор КОЗАЕВ, Ге-
оргий ЛОМИДЗЕ, Георгий
МАРГВЕЛАШВИЛИ, Вла-
димир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,
Гурам ХАРАИДЗЕ (заме-
ститель главного редактора),
Эммануил ФЕЙГИН, Георг-
ий ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

„ლიტერატურაჲსა ბრუნაჲსა“

(რუსულ ენაზე)



— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი-პოლიტიკური ჟურნალი

ბათუმის 1967 წლის ივნისიდან. № 12 დეკემბერი

ПОЛЕМИКА

ЮННА МОРИЦ. Точный перевод?
Верный перевод? 105

К 60-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

СИМОН ЦВЕРАВА. Сердце по-комсомольски бьется 109

1500 ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГЕОРГИЙ ТЕВЗАДZE. Космология
Руставели 113

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

КАРП АХПАТЕЛОВ. В старом цирке 136

НОВЫЕ КНИГИ

АКАКИЙ ХИНТИБИДZE. «Исследования по теории стиха» 145

АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГРУЗИИ» 148

ХРОНИКА 152

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ» ЗА 1978
ГОД 156

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА 160

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

НАШ АДРЕС:

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65,19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

КНИГИ, КОТОРЫЕ УЧАТ ПОБЕЖДАТЬ

Произведения Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» были переведены и изданы на многих языках. Мировая пресса единодушно отметила их высокое литературное звучание, не говоря уже о политическом значении этих работ — поистине документов эпохи.

За «Малой землей» и «Возрождением» последовало эпическое произведение — «Целина», тоже уже переведенное на многие языки мира и получившее самую высокую оценку даже в тех кругах, которые очень далеки от политических и жизненных позиций автора.

Что подкупает в характере, стиле письма Леонида Ильича Брежнева? Прежде всего, эти произведения написаны человеком, который сам сражался на Малой земле, а после окончания войны дено и ночью трудился для восстановления одного из крупнейших индустриальных районов Украины. Читая «Малую землю», где с таким тактом и мастерством описаны дела людей разного ранга — от командующего фронтом до рядового солдата, проникаешься глубоким уважением и к героям книги, и к автору. Удивительная скромность автора сопутствует читателю, взявшему в руки работы человека, к мнению и делам которого сейчас прислушиваются и присматриваются во всем мире.

Трудно забыть один из эпизодов, рассказанный в «Малой земле». Воздушная волна высоко подбросила в воздух Л. И. Брежнева, находящегося на палубе корабля.

О чем может думать человек в такой ситуации? Конечно же, не о мировых проблемах спасения человечества, а о сохранении собственной жизни. И именно об этом пишет автор. Маленький эпизод военной жизни, но он как прожектор высвечивает его личность. Все, кто были на фронте, пережили ужасы войны, верят каждому слову автора как раз потому, что он предельно правдив и скромен в своих рассказах о тех тяжелых днях.

Не было на войне человека, который не боялся смерти. Таких людей нет на белом свете. Сила мужчины-воина заключалась именно в том, чтобы заглушить в себе всяческие страхи, ведь первый враг воина именно страх.

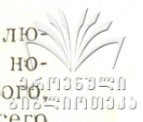
Конечно, огромная популярность произведений Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», помимо больших чисто литературных качеств, заключается в подкупающей широкие слои читателей искренности, абсолютной правдивости, честности повествования, скромности человека, считавшегося прежде всего рядовым бойцом великой армии строителей социализма.

Советский народ привык совершать деяния огромного исторического значения. Победа в гражданской войне, победа в Отечественной войне, коллективизация сельского хозяйства, индустриализация необъятной страны говорит о могуществе духа нашего человека, которого не страшат дела неслыханных до того масштабов и трудностей.

На Малой земле был совершен огромный военный подвиг, затем «Возрождение» — подвиг мирных дней и наконец «Целина» — штурм залежных земель, тысяч гектаров, до которых доселе еще не дотрагивалась рука человека. Мы до такой степени свыклись с гигантскими размерами и масштабами совершаемых дел, что сами до конца реально и не представляем их, воспринимая как само собой разумеющееся.

Сам факт освоения сотен гектаров целины говорит о неиссякаемом порыве и мужестве людей, действиями которых руководила неодолимая сила — советский патриотизм.

Л. И. Брежнев в своих произведениях воссоздал эти героические порывы великого народа.



Для Л. И. Брежнева, как для многих советских людей, война не закончилась 9 мая 1945 г. Начинались новые битвы не только за восстановление разрушенного, но и за полную реконструкцию на новой основе всего народного хозяйства.

Работы Л. И. Брежнева, повествующие о борьбе и подвиге народа во время освоения целинных и залежных земель Казахстана, находят живой отклик в сердцах советских людей. Весь народ был с героями целины.

Осваивать целину было не простым делом. Л. И. Брежнев с исключительной правдивостью пишет о тех трудностях, которые возникали в процессе подчинения человеку целинных земель.

На каком бы посту и где бы ни работал Л. И. Брежнев, он всегда опромное внимание уделял проблемам национальной литературы, культуры, духовной жизни народа.

В «Целине» Л. И. Брежнев пишет: «Осенью 1954 года состоялся съезд писателей Казахстана. Он стал крупным событием в культурной жизни республики. Мне и до этого приходилось заниматься делами, связанными с национальной культурой. Еще в Молдавии понял: если живешь в республике, то надо знать обычаи и традиции народа, его историю, художественное творчество. Сразу по приезде в Алма-Ату обложился книгами, часто встречался с казахскими литераторами и художниками, бывал в театрах. По давней склонности к поэзии много читал стихов казахских поэтов, особенно Абая, который привлек меня лиризмом, народной мудростью, глубиной постижения жизни. Абай учил казахский народ не замыкаться, не стоять на месте, обогащать свое творчество достижениями русского и других народов. Это важно и для нашего времени. Всякая национальная культура, замкнутая в себе, неизбежно проипрывает, теряет черты общечеловечности. К сожалению, не все и не всегда это понимают».

Еще одно важное замечание Л. И. Брежнева, которое относится к этому же кругу вопросов: «...Важнейший вопрос о национальных традициях и самобытности нельзя упрощать, сводить лишь к этнографии и бытовизму: на Руси — к избам, хороводам и кокошникам, в Казахстане — к юртам и табуну лошадей».

Бесконечно прав Л. И. Брежнев, когда в «Целина» пишет: «А трудности скрывать нечего было. Наш народ на протяжении героических десятилетий очень много жертвовал во имя будущего, переживал тяжкие испытания. На разных этапах нам не хватало буквально всего — гвоздей и керосина, обуви и ситца, крыши над головой и хлеба».

Партия не скрывала трудностей, так как знала, что общими усилиями эти трудности, сложности жизни будут преодолены.

Исключительно интересную мысль высказывает Л. И. Брежнев. Он пишет: «Люди растили хлеб на земле — земля растила людей. Целина, образно говоря, дала богатейший урожай пужеников, патриотов, мастеров своего дела». В этом и состояла не простая, очень сложная диалектика жизни.

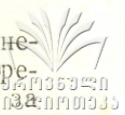
Все три работы Л. И. Брежнева — «Малая земля», «Возрождение», «Целина» полны ценных жизненных наблюдений, выводов, советов. Эти работы Л. И. Брежнева вобрали в себя исторический опыт партии и народа, стали энциклопедией для партийного, государственного деятеля любого ранга и масштаба.

Л. И. Брежнев пишет: «Большое заблуждение — полагать, будто лишь материальные стимулы нужны человеку. Нет, советскому человеку очень многое нужно — сознание своей причастности к большому делу, стремление выразить себя в труде, гордость своим мастерством, уважение товарищей, почет». Только глубокое знание психологии, дум нашего человека могли продиктовать Л. И. Брежневу эти безусловно точнейшие мысли.

В «Возрождении» Леонид Ильич пишет: «Ночью 25 октября 1943 года прибежал ко мне генерал Зарелуа, разбудил:

«— Радость-то какая — Днепропетровск освободили! Наши войска штурмом овладели и Днепропетровском, и Днепродзержинском! Москва салютует!». К тому времени мы уже привыкли к победным салютам, но этот был для меня особенным».

Родной край Л. И. Брежнева был освобожден от фашистских захватчиков.



Л. И. Брежнев прекрасно понимает, что окрик, неуважение к человеку, зазнайство в принципе противоречат стилю, нормам нашей работы. Товарищ Брежнев — «спокойный человеческий разговор... Можно сказать «Ерунду порете!» — а можно, если человек говорит от души, сказать — «Спасибо за совет, подумаем. А что если попробовать так?». «Я понял, — пишет Леонид Ильич, — что надо сдерживать эмоции, что на том посту, куда выдвинут партией, не имею права на необдуманное слово... руководитель всегда на виду и поэтому не может проявлять растерянность, слабость. Что бы ни было на душе, обязан быть собранным, бодрым и нервы должен держать в узде, чтобы и люди получили от него заряд уверенности. Порой мы недооцениваем роль юмора, а ведь очень часто можно и шуткой помочь делу». Безусловно, мудрые советы человека с огромным жизненным, партийным опытом. Леонид Ильич подчеркивает, что к людям надо подходить дифференцированно. «Люди есть разные, и говорить с ними тоже нужно по-разному, а иной раз и молчание бывает красноречиво». Если суммировать сказанное, можно заключить, что это и есть ленинский стиль работы.

Конечно, легче быть добрым за счет государства, чем проявлять необходимый характер, но это уже тот случай, который никак не вяжется с нормами нашего поведения.

Быть всегда принципиальным тоже не легкое дело. К наказанию тоже приходится прибегать. «По человечески некоторых бызало и жалко, но нельзя быть добрым за государственный счет». Ведь и сейчас встречаются горе-руководители: чтобы прослыть добряком, прощают людям даже крупные промахи и ошибки.

Леонид Ильич замечает: «Самому мне тоже пришлось все время учиться. И это необходимо, конечно, для всех — обстановка все время меняется, возникают новые проблемы. Партийный руководитель, если не хочет отстать, должен учиться всю жизнь».

Жизнь наша протекает бурно, стремительно. Нам приходится встречаться с совершенно новыми проблемами, вопросами. Они разрешались успешно, потому что под руководством партии их решала вся наша великая страна. На целину были направлены наиболее опытные

кадры. Не случайно был послан туда Л. И. Брежнев. Легко ли было на целине? Нет, там было очень трудно, но именно поэтому люди там работали **самозабвенно**. Леонид Ильич на одноместном самолете облетает **казавшиеся** бескрайними просторы земли, которая должна была обогатить наши возможности — и экономические, и политические, да и всякие иные.

Леонид Ильич пишет: «Иногда спрашивают: кто был автором идеи поднять целину?». И отвечает: «Подъем целины — это великая идея Коммунистической партии». Конечно, о богатствах целины думали и раньше, но поставить на службу народа это богатство стало возможным только благодаря огромной, гигантской работе партии. Попытки освоения целины в дореволюционный период превратились в подлинное народное бедствие. Только огромный опыт организационной работы, накопленный партией, помог положительно решить и эту проблему. «Современные экономика, политика, — пишет Леонид Ильич, — общественная жизнь настолько сложны, что подвластны лишь монушему коллективному разуму... надо уметь советоваться с народом, чтобы избежать всякого рода «шараханий», скороспелых, непродуманных волевых решений».

Хочется процитировать здесь поистине поэтические строки, которые родились в той степи. Леонид Ильич пишет: «Впервые я видел казахскую степь весной и любовался ею. Какой простор! Наверное, тут даже солнце устаёт, пока проходит от горизонта до горизонта. Весенняя степь сияла множеством красок. Синели разливы воды. Блесгели на солнце пахучие свежие травы. Цвели тюльпаны. И на всем зеленом просторе то там, то тут лежали черные квадраты впервые распаханной земли».

Пишешь о работах Леонида Ильича, и все время тянет к цитатам. Лучше автора не скажешь. Жизнь ставила перед советской страной свои задачи, свои проблемы, люди приехали на целину всерьез и надолго. Десятки тысяч целинников стали осуществлять ту мечту, которая часто подспудно живет в народе.

Владимир Ильич Ленин писал, что непригодными эти земли являются «не столько в силу **природных свойств...** сколько вследствие **общественных свойств хозяйства...** обрекающих технику на застой, население на

бесправие, забитость, невежество, беспомощность» (В. И. Ленин. Собр. соч., т. 16, стр. 229).

Целину подымали все народы Советского Союза, в числе их и посланцы Советской Грузии. Их было немало. В связи с выходом в свет «Целины» Л. И. Брежнев грузинские целинники тоже вспомнили те героические дни. Подъем целины — это плод усилий многонационального советского народа.

Л. И. Брежнев специально отмечает роль интеллигенции, писателей в освоении целины. Съезд писателей Казахстана, который состоялся осенью 1954 года, стал крупным событием в жизни республики. Очень важные мысли высказывает Леонид Ильич и о проблемах многонациональной, единой советской литературы. Леониду Ильичу пришлось наводить порядки и в делах литературных. Товарищ Брежнев пишет: «Баталии, которые навязывали некоторые демагоги, привели к тому, что из республики были вынуждены уехать такие выдающиеся люди, как писатель Мухтар Ауэзов и академик Капыш Сатпаев. Мы помогли им вернуться в Алмату».

Одним словом, в Казахстане Леониду Ильичу приходилось решать буквально тысячи вопросов, больших и малых. И они решались правильно, в интересах советского народа.

Мы коснулись лишь некоторых сторон великого подвига советского народа; о них думал и писал, их анализировал выдающийся руководитель нашей партии — Леонид Ильич Брежнев, личные заслуги которого в освоении целины хорошо известны и которому досталось самое большое счастье — жить и творить для советского народа во имя великих идеалов партии, во имя победы коммунизма.

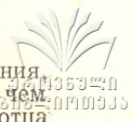
Владимир МАЧАВАРИАНИ.

ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ДОРОГЕ

Роман

«Величайший из царей принял решение посылать греческих детей в Колхиду для науки. Чем это плохо? Получит всевозможные знания, станет мудрым человеком, будет полезен отечеству. И вы будете обеспечены до самой смерти, хлеба и вина будете иметь вдоволь, ибо величайший из царей щедр. Колебаться тут нечего, решайтесь и отдавайте сына царю — не то, смотрите, дойдет до того, что и он утонится». — так говорил придворный величайшего из царей и улыбался Фриксу. Родители же Фрикса разводили руками, раскрывали рты, но не издавали ни звука, словно в горле у них застрял кусок, которым их уже попрекали. Но стоило уйти придворному величайшего из царей, как они с яростью напустились друг на друга: «Твоя вина, ты погубил (или погубила) наших детей!». Десять лет провел Фрикс в отчем доме и за все это время не видел своих родителей иначе как ссорящимися. Фрикс знал, что его отец и мать любили друг друга, но жизнь не дала им возможности обменяться ласковым словом — каждый день приносил все новые невзгоды и несчастья; а когда утопилась старшая сестра Фрикса Геле, существование в их разваливающейся хижине стало и вовсе невозможным. Правда, придворный величайшего из царей наводил ужас на Фрикса своим обликом и речами, но в душе Фрикс все же молил богов, что-

Окончание. Начало в № 10—11.



бы родители не отказались от сделанного им предложения, так как был уверен, что, куда бы его ни увезли, хуже, чем здесь, ему нигде не будет. Нескончаемые ссоры и нытье отца с матерью угнетали Фрикса, их было жаль, они не были виноваты — Фрикс это чувствовал — в том, что возненавидели друг друга, это нищета и нескончаемые беды стравливали их. «Если не сегодня — так хоть завтра, не сегодня, так хоть завтра», — с такой мыслью засыпал вечером и просыпался утром Фрикс, но это желанное завтра все никак не наступало, напротив, каждый новый день приносил новые муки и невзгоды.

Фриксу было всего семь лет, когда утопилась Геле, но эта ужасная ночь так никогда и не стерлась в его памяти. Едва он успел заснуть, как Геле пришла к нему в постель. Сперва, спросонья, он ничего не мог сообразить; что это была Геле, он догадался после, когда глаза привыкли к сумраку. Геле неистово целовала его лицо, шею, руки, раздирала ворот его рубахи, чтобы поцеловать грудь. Фрикс задыхался, обливаясь потом — Геле была такая горячая, словно охваченная пламенем, прибежала к брату за помощью. Фрикс ненавидел ее в эту минуту. Он отталкивал Геле коленями, упираясь кулаком ей в горло, и если не кричал, то лишь потому, что не хотел будить отца и мать, боялся, что они поднимут суматоху и не дадут ему покоя до утра. «Пусти меня! Пусти!» — шептал Фрикс, а Геле неистово целовала его и все повторяла жарким шепотом: «Прощай! Прощай! Не забывай своей несчастной сестры!». Фриксу не терпелось, чтобы Геле наконец ушла, оставила его, он старательно вытирал целованные места, но Геле ничего не замечала, все так же бурно целовала его, прижимаясь к нему горячей грудью, и Фрикса смущало и пугало это крепкое, беспоконное, жаркое тело, которое было на самом деле его старшей сестрой Геле, но в то же время и не походило на Геле — наверно, потому, что она уже принадлежала смерти, и Фриксу отныне никогда больше не суждено было ее видеть. Наутро Фрикс узнал, какое огромное несчастье стряслось с ним: сестра оставила его одного с двумя смертельно озлобленными друг против друга людьми, которые были родителями и его, и Геле; и вот теперь Геле исчезла. Геле, чья улыбка заставляла отца отбросить бульжничок, подхваченный им с земли в пылу ссоры с женой.

Геле нашли в реке: на ней было зеленое платье, она стояла вниз головой на дне, оголенная до пояса, и стройные белые ноги ее едва заметно колебались в воде. Оба берега реки сразу заполнились людьми. От непрерывных воплей толпы и от жары у Фрикса разболелась голова; ему не верилось, что Геле мертва — возможно, потому, что она чуть шевелила голыми ногами. Нырять никак не удавалось набросить петлю на ногу Геле. Благодаря необычайной прозрачности воды все, что в ней делалось, было ясно видно. Фрикса несколько раз отгесняли от берега, но он все рвался вперед, продираясь локтями и головой через толпу, встававшую перед ним горячей, потной стеной. «Это моя сестра, пропустите меня!» — просил Фрикс, но никто не слушал его. Раз ему даже отвесили подзатылье.

ник: куда, мол, лезешь, негодник! Фрикс плакал, слезы и по ручьями стекали по его лицу, но он все пробивался вперед, искал не столь плотные, более податливые места в стене, чтобы прорваться через нее и снова увидеть Геле — вернее ее красивые ноги, чуть колебавшиеся в прозрачной воде, как бы дразня, поощряя и притягивая ныряльщиков. Пока шевелились ноги Геле, Фрикс не мог поверить в ее смерть. Течение уносило пловцов вместе с их веревкой, но они выбирались на берег и, озябшие, дрожащие, возвращались бегом на прежнее место, чтобы снова броситься в воду, где слегка покачивались стройные ноги девушки в зеленом платье, стоявшей вниз головой на песчаном дне. Раз за разом набрасывали ныряльщики петлю, но белоснежная нога девушки неизменно выскальзывала из нее. Фрикс волновался, молился в душе, чтобы петля не затянулась, словно сейчас это было самое важное, словно это одно могло спасти Геле, ловить которую сбегалось столько народу. И не только Фрикс — все были возбуждены, взволнованы этим необычным зрелищем, и когда натянутая веревка внезапно обвисала и, извиваясь по-змеиному, выскакивала из воды, люди на обоих берегах испускали громкий вздох, как зрители на ипподроме при виде вырвавшейся вперед и внезапно споткнувшейся перед самой победой лошади. А Геле словно бы нравилось в воде, и она не давала ныряльщикам обхватить веревкой свою ногу. Наконец ныряльщики добились своего: закрепили петлю и осторожно потянули веревку. Геле вздрогнула всем телом — будто очнулась от сна или вдруг догадалась, что попала в западню. Оба берега испустили вздох облегчения. Фрикс, обернувшись, удивленно посмотрел на толпившихся за его спиной людей. Лица у всех были багровые от жары. Геле там, внизу, перевернулась, как бы рванувшись, чтобы высвободиться из веревочной петли. Кудри ее всплыли, разметались по поверхности воды, расплавились на отдельные колышущиеся пряди. Вскоре и сама Геле всплыла наверх и замерла в неподвижности, словно застыдившись перед собравшейся толпой, которую она заставила так долго томиться в ожидании. Пловцы выбрались на откос, вновь потянули веревку, и Геле медленно, покорно поплыла к берегу. Нога, на которой была затянута петля, высовывалась из воды до колена. С веревки и с торчащей ноги сбегали прозрачные струйки.

С тех пор не проходило дня, чтобы отец не сказал Фриксу: расти быстрее, я должен отправиться туда, где сейчас Геле; жалко девочку, она совсем одна. Но жена тотчас же накидывалась на него, будто отец не имел права и слово сказать об умершей дочери.

— Молчи! Хоть бы ты придержал язык! — кричала жена, нища вокруг чем бы его ударить.

Фрикс, всхлипывая, цеплялся то за мать, то за отца, думал — пусть уж лучше на нем отводят душу обезумевшие после смерти Геле родители, пусть в него попадет брошенная в ярости ступка или скалка. Фриксу было одинаково жаль обоих. Оба были ему родные, и беда у них была общая. «Если не сегодня, так завтра, не сегодня, так хоть завтра», — с этой мыслью, всегда с этой мыслью, засыпал Фрикс, хоть и не знал,

что могло завтра случиться такого, чтобы он забыл об ожесточении родителей, о гибели сестры, о собственной беспомощности.

Единственный день в году, которого теперь с нетерпением дожидалась вся семья, был день поминовения мертвых. Они отказывали себе в последнем, чтобы в этот день перед дверью их полусгнившей хижины стоял полный горшок похлебки; в этот день они не слышали друг от друга сердитого слова. Дом еще с вечера был чисто прибран и подметен — казалось, к ним должен явиться жених смотреть невесту. Впрочем, какой гость мог быть желанней той, кого они ждали? «Сегодня моя девочка, радость моя придет!» — поминутно твердила мать, суетясь и хлопоча над кипящим в очаге горшком так, словно не одну заморенную девчонку, а целый город собиралась накормить до отвала. Накануне все трое мылись с головы до ног. Мать стирала, чинила, зашивала, латала, чтобы одежда выглядела, как новая, чтобы Геле не огорчилась и не испугалась при виде своих оборванцев-родных — ведь из-за этого она и покинула их. Все трое не смыкали глаз в эту ночь, дожидаясь утра, когда они смогут узнать, приходила ли Геле. Если горшок за дверью оказывался наутро пустым, они, не помня себя от счастья, обнимали и целовали друг друга так, словно им никогда не случалось обменяться бранным словом. «Пришла наша дочка!» — говорил отец, положив руку на плечо плачущей от счастья матери. А у той слезы текли в три ручья, но она все же улыбалась, и оба были в ту минуту такими родными, такими красивыми, что Фрикса охватывала дрожь. Потом мать выходила во двор и стояла перед дверью до тех пор, пока кто-нибудь из соседей, как и она, потерявший близкого, не окликал ее: «Мой явился, а как ваша?». И мать, перевернув с радостным видом горшок, вылизанный бродячими псами или нищим, гордо отвечала: «Пришла, как же иначе? Пришла моя девочка, счастье матери своей!».

У отца Фрикса был крошечный клочок земли, обнесенный колючей изгородью. Земля эта была надеждой всей семьи. Отец Фрикса день-деньской трудился над нею, не разгибаясь, поливал ее своим потом, но все его усилия пропадали даром. Сера, истощенная земля не имела соков, чтобы вспонть семя, и не возвращала хозяину десятой доли того, что получала. Ничего не сумев поделаться с бесплодной землей, ожесточенный и отчаявшийся отец Фрикса однажды поджег изгородь. Но земля не простила ему отступничества. Из пылающих колючих кустов выскочила змея, кинулась к отцу Фрикса, как испуганное дитя к первому встречному, мгновенно обвилась вокруг него и колотилась своей плоской головой с раздвоенным языком об его грудь и живот до тех пор, пока он не упал без сознания. Все тело его распухло, на губах выступила пена, плоть, в которую вонзились змеиные зубы, сразу покрылась язвами. Его подобрала соседка, отнесла домой. Глаза его были все еще выкачены от ужаса, но он ничего не сознавал. Увидев, что случилось с ее мужем, мать Фрикса осатанела. «Это он от меня убежать хотел, вот почему дал змее себя ужалить, — вопила она, — до семьи ему и дела нет!». Смерть, конечно, была хороша и

желанна, смерть несла с собой отдых, но ведь умри он — весь дом, все труды и заботы должны были лечь на плечи одинокой женщины. Кто растит ребенка, у того корзинка всегда одна, а ей надо было поднять двоих, и вдвойне была тяжела сытная ее бездонная корзинка. «Нет, дружок, я не позволю тебе умереть!» — вскричала, склонившись над мужем, жена и закружилась, захлопотала так, что в конце концов вырвала из когтей смерти его распухшее, смердящее тело. Но, хотя отец Фрикса и остался в живых, родные едва узнавали его. Смерть все же отторгла часть его существа; он так огощал, что подуш на него — зашатается, а то и упадет; впрочем, он и так не мог долго держаться на тонких как жердочки ногах, ноги были ему ненадежной опорой; они вдруг начинали отчаянно трястись и, если не нашлось бы кому поддержать беднягу, могли подломиться под тяжестью исхудалого тела. Зато язык у него распух так, что не умещался во рту. Отец Фрикса стал так страшен, что сын с дочерью не могли смотреть на него, отводили взгляд. «Это все из-за твоей злости с тобой такое стряслось», — говорила ему, подбоченясь, жена. Но беспомощный лепет и бормотанье мужа ранили ее, хватали за сердце, и она тут же добавляла ласково: «Не бойся, и язык скоро выльчим!». Так или иначе, но бедняга был уже не работник. Жена, однако, все же нуждалась в нем, хотя бы для того, чтобы изливать на него желчь и ярость, доводившие ее порой до иступления. Впрочем, она скоро пристроила его к делу, придумала, как извлечь выгоду из самого его убожества. Теперь Фрикс каждое утро провожал отца до ближайшего перекрестка, сажал на скамеечку, ставил перед ним миску с жареными тыквенными семечками и оставлял его там до вечера. Отец Фрикса продавал тыквенные семечки, а мать, Геле и Фрикс с утра до вечера сушили и жарили их. Все были перепачканы скользким, слизистым тыквенным соком; запахом его были пропитаны рваные и латанные их постели, все домашнее тряпье; хлеб и вода их бедности имели вкус тыквенных семечек. Но вскоре и это могло стать для них недостижимой мечтой. Тогда впервые появился придворный величайшего из царей, почесал черными ногтями подбородок и сказал: «Ваш участок отдан храму Деметры, ибо вы прогневили богиню тем, что подождли землю; нам теперь грозит неурожай». Все словно онемели. Человек с черными ногтями посмотрел на Геле, улыбнулся и продолжал: «За эту девочку вы можете получить достаточно денег, чтобы и богиню умилюстить, и землю себе вернуть». Вскоре после этого Геле утопилась. В смятении от неопределенности будущего и от предстоящей разлуки с родными Геле пришла в постель к своему брату, чтобы оплакать жгучими слезами судьбу родителей, брата и свою. «Это все потому, что я взрослая», — сказала она в ту ночь задыхающемуся от ее иступленных ласк брату. После, когда Геле нашли в реке, Фрикс подумал, что и он когда-нибудь, не сегодня, так завтра, станет взрослым, и ему стало страшно.

Когда Геле похоронили, придворный величайшего из царей появился вновь. «Ваше несчастье смягчило Деметру, и она

возвратила вам землю», — объявил он удрученным гибелью дочери родителям, а Фриксу насыпал в горсть маслин.

С тех пор прошло три года — из всех этих лет Фрикс не запомнилось ничего, кроме человека с черными ногтями и гишперовым ожерельем на шее. Его родители так привыкли к странному гостю, что теряли покой, если он запаздывал, и по минутно посылали Фрикса на улицу посмотреть, не идет ли он. Странные речи вел этот человек — вселяющие страх и успокоительные в одно и то же время. Казалось, он мечтает вслух. Он сидел и бесконечно рассказывал о какой-то далекой стране, где рождаются золотоволосые дети, цветут волшебные деревья и из медных труб текут неиссякаемые струи молока, вина, ароматного масла и воды. Колхида, по его словам, нисколько не походила на другие страны, где человеку приходится переживать всевозможные несчастья, прежде чем он достигнет до обители мертвых свое изможденное тело. «Люди этой страны просвещенны и добры», — говорил придворный величайшего из царей, и когда он неожиданно засыпал среди разговора, Фрикс невольно воображал эту сказочную далекую страну и думал о ней, как это свойственно робким людям, с восхищением, к которому примешивался страх. У человека с черными ногтями была странная привычка — при каждом своем посещении (а посещения были часты) он неизменно спрашивался о возрасте Фрикса, а когда отец или мать отвечали: «Ему еще нет восьми, разве не помните? Вы же были у нас месяц тому назад» — улыбался и говорил: «Значит, он стал старше на месяц с тех пор, как я был здесь, скоро ему будет восемь лет, а потом и десять». И неизменно добавлял: «Молодец наш мальчик!». И действительно — три года пролетели незаметно, должно быть, потому, что все это время семья не испытывала нужды; придворный величайшего из царей никогда не приходил с пустыми руками, а если хозяйка стеснялась принять дар, то совсем по-своему сердился на нее, дескать, мы же не чужие, мы должны помогать друг другу. Эти нескончаемые беседы, похожие на мечтанье вслух, эти частые мелкие дары сделали придворного с черными ногтями своим человеком в семье Фрикса. Он уже три года тому назад объявил, что Фрикса, когда ему исполнится десять лет, надо будет отправить для ученья в Колхиду. А три года пролетели быстро. Все это время в хижине родителей Фрикса только и было разговоров что о Колхиде. И когда наступило условленное время, на них словно нашел столбняк от страха: можно ли теперь отказать царскому человеку, после того, как три года обнадеживали его? И опять пошли в семье свары и перепалки, вновь напустились друг на друга обманутые еще раз жизнью родители Фрикса.

— Выбора у нас все равно нет. Как знать, может быть, мальчик найдет свое счастье? Все лучше, чем заживо спать в этой окаянной лачуге, — говорил отец, но это была лишь мечта бесцельного человека, самообман, попытка оправдать позор своего существования. Он чувствовал, что и на это не имел права, раз дошел до того, что решил продать родное дитя. И отец Фрикса, вздрогнув, оглядывался на жену. А жена, точно только того и ждала, тотчас набрасывалась на него: «Ты

всеми нами пожертвуешь, тебя и змеинный яд не смог убить, потому что в тебе самом больше яда, чем у змеи!». И снова завязывалась ссора, и не было ей конца. У отца от ненависти отвисала челюсть, мать сыпала бранными словами, торопиться, словно боясь упустить что-то очень важное, брызгала слюной так, что земляной пол покрывался прыжной жижей. Фрикс становился между отцом и матерью и следил, как бы они не швырнули друг в друга чашкой или пестом. Пока его родители, словно два шипящих ядовитых асида, жалили и язвили друг друга, его от страха била дрожь, прохватывавшая до самых костей. Так было каждый день, все дни были похожи один на другой, вернее, казалось, что боги послали им один нескончаемо длинный день и завтра никогда не настанет. Фрикс захлебывался в море яда, извергнутого его родителями, он был весь пропитан ядом и, даже выходя на улицу, всякий раз боялся, что от него будут шароухаться или бросят в него камнем, или даже спустят на него собаку. И если три года тому назад одна мысль о том, что настанет день, когда его разлучат с родителями, наводила на него ужас, то теперь он стирал от нетерпения и боялся только одного — как бы человек с черными ногтями не отказался от него, не раздумал отослать его в Колхиду. «Колхи — добрый народ; тому, кто побьет ребенка, там отрубают руку», — утешал Фрикса, как бы извиняясь перед ним, отец; но Фрикс не нуждался в утешениях, ему не терпелось покинуть отравленную желчью и ненавистью хижину своих родителей. Он был на все согласен — лишь бы не стать таким, как они, не разделить их судьбу. После смерти Геле прошло уже три года, но мысль о сестре по-прежнему отягощала ему сердце. Ему чудилось, что, как только он уедет отсюда, Геле вырвут из могилы. Фриксу уже было известно условие, поставленное величайшим из царей: он, Фрикс, должен был переселиться в Колхиду навсегда, там провести всю жизнь и умереть, когда придет время; он должен был завести там гнездо и могилу (да, именно «гнездо и могилу» — так сказал человек с черными ногтями, тайно от его родителей, улучив минуту, когда остался с ним наедине), потому что они могли понадобиться когда-нибудь тому, по чьему поручению покупали Фрикса. Условие было не очень-то понятно Фриксу, но одно ему было ясно: он больше не будет слышать ругань своих родителей, не будет засыпать голодным и, проснувшись, испытывать печаль оттого, что он еще живой, а главное, поможет отцу с матерью, потому что величайший из царей заплатит за него большие деньги. Вот почему, не в силах выговорить слова от волнения, он тотчас в знак согласия кивнул головой человеку с черными ногтями, когда тот при очередном посещении приблизил губы к его уху и шепнул: «Ты уже не маленький, сам должен решать».

Вскоре после этого Фрикса отвели на корабль и отправили в путь. На него надели новое платье, обшитое золотой каймой, а полученный от матери узелок, которым он вытер выступившие на глазах слезы, отобрали и выбросили в море, как только корабль отделился от берега.

Когда родной берег исчез за горизонтом, Фрикс понял, что счастьем его сужден недолгий век. Ничто не радовало его больше — ни новая одежда, ни изысканные яства, ни плавание на корабле; всего милей была ему сейчас покинутая навсегда полуразваленная хижина и дорожке самого себя — угрюмая женщина в линиялом платке с обтрепанными краями, что стояла молча среди суматохи шумной гавани, не отрывая тревожного взора от корабля, словно ухватившись за него рукой, чтобы помешать ему выйти в море; казалось, она уже чувствовала сердцем, что ее обманывают, отнимают у нее единственного сына навсегда, казалось, сейчас у нее прояснятся мысли, она все поймет и закричит так, что окружающие запрясутся от ужаса, гавань мгновенно опустеет, гребцы попрыгают через корабельные борта, человек с черными ногтями подхватит Фрикса на руки, спеша вернуть разгневанной матери ее дитя, а та швырнет ему в лицо набитый золотыми кошелек и уведет домой, в свою полуразваленную лачугу, спасенного сына и бессильного, отраженного змеиным ядом мужа, примостившегося на корточках у ее ног и потому невидимого Фриксу, смотрящему с палубы корабля. Но ничего похожего не произошло. В гавани толпился всевозможный люд, шум стоял оглушительный; гребцы с силой навалились на весла, корабль вздрогнул, закачался... Фрикс не видел отца, но был уверен, что тот плачет; иссохший, похожий на живой труп человек с отвисшей от ненависти челюстью сидел у ног своей жены и плакал, так как больше ни на что не был способен. Фрикс читал все это на суровом, потемневшем лице матери и сам обливался горячими слезами. Так покидал свою родину связанный жестким условием, принужденный к пожизненному молчанию ребенок, твердо убежденный, что это — единственный выход, что только такой ценой может продлиться жизнь его родителей на год-другой, хотя бы в ожидании безвозвратно потерянного сына — потерянного навеки, потому что если Геле хоть в день поминовения, хоть раз в год посещала родной дом и отведывала припотрошенного ее матерью кушанья, то для него, Фрикса, никто и не выставил бы за дверь горшка с похлебкой — он заживо стал мертвецом.

«Запомни: ты — сын беотийского царя, мачеха хотела убить тебя, но ты был спасен летающим бараном. Больше ты ничего не помнишь, ничего не знаешь. Только одно: ты — сын беотийского царя, ты — беотийский царевич». — с утра до вечера твердили Фриксу на корабле, но перед глазами «беотийского царевича» стояли его оборванные отец и мать, искавшие во взаимной ненависти силы для существования, для того чтобы одержать натиск могучего и беспощадного врага: мира, наступающего со всех четырех сторон и грозящего раздавить их.

«Летающий баран», которому предстояло спасти «беотийского царевича», был привязан к мачте и непрерывно жевал мягкими губами, окруженный целой россыпью крупного, с орешек, помета.

Когда на носу закричали: «Земля впереди, ближе подходить опасно!» — барана отвязали, посадили на него мальчика и приготовились сбросить обоих в море. Охваченный неясным страхом перед водой, присущим всему его племени, перепуган-

ный предстоящим холодным купаньем баран рванулся, разбросал в разные стороны державших его людей, перетомал все вокруг, развалил гору сложенных вместе бочек — и вопль раздавленный бочкой человека совсем помутил его разум. Теперь он должен был биться до конца, так как того, что он уже натворил, ему не простили бы. Корабль раскачивался, моряки бегали за бочками, катавшимися по палубе, а баран со своим всадником носился взад-вперед и уже раскаивался, что причинил столько хлопот людям; ничего, кроме хорошего, он от них не видел, они и кормили его досыта, и осыпали похвалами. «Такого красивого и доблестного барана, как ты, не сыщется на всем свете», — твердили ему всю дорогу, и баран раздувался от гордости, так ему была приятна человеческая похвала. А Фрикса, изо всех сил вцепившегося барану в рога, мучило от этой безумной скачки, и глаза у него лезли на лоб от страха. «Да я бы за это время и к воде привык, и до берега добрался!» — подумал с сожалением баран, и тут как раз кто-то крикнул: «Головешкой его, волчью сыть!». Через минуту в воздухе разнесся запах паленой шерсти и горелого сала. От боли у барана выросли крылья, топоча копытцами, пересек он палубу, оттолкнулся задними ногами от борта и полетел вместе со своим всадником, но берега не достиг и пружно шлепнулся в воду.

Фрикс еще в воздухе потерял сознание и очнулся только на берегу, распростертый у ног незнакомых людей.

Десять лет было Фриксу, когда он родился во второй раз. Изумленно и испуганно, как младенец, смотрел он на чуждое окружение и на склоненные к нему незнакомые улыбающиеся лица; люди что-то ему говорили, но он еще не понимал их языка, он еще не принадлежал им, и когда он вскакивал, от робости ноги у него дрожали и подгибались, как у его отца; но если он хотел жить, то должен был вновь, с самого начала, учиться ходить и разговаривать. Все, что он знал до сих пор, было ему больше не нужно; все это он должен был забыть начисто и навсегда, потому что до сих пор он только рождался — настоящий Фрикс рождался десять лет, десять лет спал во мраке утробы и видел страшные сны. Мир, в котором родился настоящий Фрикс, не имел ничего общего с теми снами, что грезились ему непрерывно все эти десять лет, сосали его кровь, подобно испанским привяжкам, и приучали его к страху — к страху и покорности. Но сколько бы ни старался Фрикс забыть эти сны, они все равно существовали, они были изображены на оборотной стороне того камня, на котором он старался теперь утвердиться; и достаточно было камню перевернуться под его ногой, чтобы он тотчас возвратился к своему голодно-му и холодному прошлому, к ничтожеству, к несуществованию. Все теперь зависело от самого Фрикса — как он будет поступать, что изберет, сон или действительность, первоначальную родную нищету или непривычную роскошь. И Фрикс сделал выбор. Когда его привели во дворец, он собрал все свои силы, подбежал к человеку, сидевшему на троне, и поцеловал ему руку. При этом он невольно посмотрел на его ногти, но у сидящего на троне ногти были обыкновенные, некрашенные. Фрикс сна-

чала даже удивился: он думал, что раз его послал сюда человек с черными ногтями, то и здесь у всех ногти окажутся черными. Отныне Фрикс должен был все время, всю жизнь притворяться, всю жизнь повторять ложь, которую навязала ему с самого рождения судьба. Но почему судьба так обошлась с ним — подхватила, подбросила в поднебесье, как одуванчик, и все поддувает снизу, не дает ему опуститься на землю? До каких пор он будет висеть так под облаками, всем на погляденье? Пока не облетят все тычинки, до последней? Но когда от него останется лишь голый стебель, он не опустится, а низвергнется на землю. Фрикс предчувствовал это и в ожидании страшного падения, рокового конца, проводил ночи без сна; но однажды высказанная ложь неуклонно, безоглядно гнала его по дороге обмана, притворства, скрытой ненависти и покорности.

Фрикс с первого же дня почувствовал, что отошли в невозвратное прошлое родная его хижина, нищие отец с матерью и могила Геле. Все это было теперь так далеко от него, что порой казалось виденным в давнем сне, но тут так ощутимо ударял ему в ноздри затхлый запах старой лачуги, так явно вставали перед его глазами хмурое лицо матери и отец, сидящий с миской тыквенных семечек на скамеечке на углу улицы, и чуть покачивающиеся в прозрачной воде ноги Геле, что он, не в силах справиться с подступившим к горлу комком, прятался в каком-нибудь стенном шкафу и там, в сырости и темноте, плакал навзрыд над своим сиротством и одиночеством. Нет, никак не мог Фрикс забыть прошлого, напротив, со временем он все тверже убеждался, что не хватит ему ни силы, ни желания, чтобы стереть, выкристи, выкорчевать из своей памяти те десять лет, отвергнуть которые вменяла ему в долг судьба. Пусть все будет так, как хочет рок, он не нарушит условия, не откроет правды, но никому нет дела до того, о чем он думает втайне, о чем мечтает в тиши, о чем вспоминает и с кем беседует по ночам, ворочаясь в постели, как на подстилке из терновника. Лишь тогда чувствовал себя счастливым Фрикс, когда оставался один, когда во дворце воцарялась тишина и няньки и мамки, одолеваемые зевотой, ухаживали к себе, бросив последний взгляд на притихших в постелях детей. Вот тогда Фрикс был волен разгуливать, сколько его душе было угодно, в своей собственной стране, окруженной, наподобие бесплодного участка его отца, изгородью из терновника — нет, не из терновника, а из пламени, грозно гудевшего на страх врагам и достигавшего до небес. Но как только появлялся Фрикс, огненная стена расступалась, давая ему беспрепятственно пройти, так как царь и царица этой страны были отцом и матерью Фрикса. «Вот, пришел наш мальчик!» — ударив в ладоши, сбегала со ступенек трона царица. Царь, улыбаясь, следовал за нею — увенчанный короной, с трехглавой змеей в руке, степенно, по-царски. А там прибежала Геле и ставила перед ним горшок, полный похлебки. Тело ее было облеплено мокрым платьем; пока Фрикс угощался похлебкой, она теребила его: «Ешь скорее, я знаю на речке хорошее место для купанья». Родители улыбались, им было радостно видеть обоих своих детей вместе, но мать, притворно нахмутив брови, сердилась на

Геле: «Дай ему поесть, видишь, мальчик проголодался!». А Фрикс уплетал за обе щеки, и сердце его распирала радость от того, что мать и на его долю сварила похлебки. А потом мать опрокидывала пустой горшок и кричала слугам с черными по-
т-ями: «Пришел мой мальчик!».

Так было каждую ночь, так проходило время, и страна, созданная и расцвеченная детской мечтой, росла вместе с Фриксом. Теперь он и сам уже простодушно верил, что тот маленький, обнесенный колючей изгородью бесплодный клочок земли был на самом деле целым царством — царством его отца; и позднее, когда он рассказывал об этом царстве своим сыновьям, он нисколько уже не сомневался в истинности своего рассказа. Одно лишь терзало его — то, что даже наедине с сыновьями он должен был разговаривать о стране своих предков как бы тайком, словно он совершал преступление.

Все обращались с Фриксом хорошо, но самое это внимание, всеобщая забота и доброта были всегда подчёркнутыми, бросающимися в глаза, преувеличенными, а потому ранили и подавляли. Сколько раз доводилось ему слышать о себе: «Он чужой, гостям надо уступать». О, как больно ранило его — в самое сердце — подобное заступничество! Не потому заступались за него, что считали своим, а потому, что он был чужой! И таким же чужим он должен был оставаться постоянно, чтобы его защитники и заступники не раз могли обязать его, выказав свое великодушие и щедрость; он был чужой навсегда, так как обладал несуществующим для них прошлым. Да, Фрикс был чужой, осыпанный милостями, обязанный самой жизнью тем, кто приютил его, вынужденный терпеть все — даже ласку. По ночам он плакал горькими сиротскими слезами. У него ведь не было по эту сторону огненной ограды ни одного человека, которому он мог бы излить, ничего не скрывая, свои горести. Ложное звание царевича и незаслуженно оказывавшийся ему почет словно оковами стиснули его душу, но и это он не мог, не должен был показывать никому. И Фрикс терпел, потому что у него не было выбора, потому что иначе жить было нельзя, и хотя он ночи напролет беседовал со стенами своей спальни, приносил клятву, что не останется здесь больше ни одного дня, что убежит завтра же на рассвете, утром он выходил в залу с улыбкой на лице, почтительно здоровался со всеми и весь сиял, когда кто-нибудь из взрослых говорил с похвалой: «Вот, смотрите, Фрикс уже успел умыться, дети, берите с Фрикса пример!». А когда Кариса, бывало, раскричится: «Надоели вы мне с вашим Фриксом!» — тот пугался до полусмерти, так что сердце готово было выскочить из груди. Он боялся, что и другие, так же как Кариса, могут невзлюбить его. Карисы он боялся и даже ненавидел ее, в особенности после того, как она толкнула его в лодке и он ударился носом об уключину. И все же он не хотел, чтобы Кариса питала к нему неприязнь. Чего только он не делал, чтобы завоевать ее расположение, — ловил для нее кузнечиков, собирал для нее цветы с самыми широкими лепестками, тряс для нее тутовое дерево, никому не уступал корзинку с ее завтраком, когда они шли гулять. И все это для того, чтобы привлечь Карису на

свою сторону, чтобы она заметила его «преданность» и никогда больше не говорила: «Надоели вы мне с вашим Фриксом!» Да, Фрикс боялся Карисы и из страха не отходил от нее ни на шаг.

По сути дела всю свою жизнь Фрикс убегал от Карисы, даже тогда, когда женился на ней и прижил с нею четырех сыновей. Чем больше проходило времени, тем тягостнее становилась глубоко запрятанная ложь и все возрастала тяжесть возможного возмездия. Вот почему боялся Фрикс Карисы и почему старался всегда оставаться поблизости от нее. Он был уверен, что Кариса с самого начала усомнилась в его царском происхождении — разве не о том свидетельствовали ее слова: «Надоели вы мне с вашим Фриксом»? Разве Фрикс, будь он в самом деле царским сыном, постеснялся бы выйти, как Кариса, неумытым в залу? Разве стал бы он класть одежду под подушку? А Фрикс ведь упрятывал тщательно сложенную одежду на ночь под подушку, пока не заметила этого Кариса. До самой смерти не мог он забыть насмешливый голос Карисы, скакавшей вокруг него на одной ноге — а у него лицо пылало, словно маков цвет, — и трещавшей как сорока: «Деревенщина! Деревенщина!». Одна лишь Кариса замечала его отнюдь не царственные привычки, но почему-то щадила, не выдала его — должно быть, для того, чтобы сделать его на всю жизнь своим покорным, безответным рабом, чтобы до самой смерти господствовать над ним. И не случайно также Кариса лукаво и насмешливо смотрела на него, когда по пути в летний дворец они проплывали на ладье мимо приречных селений и деревенские ребятишки кричали им с крутого берега: «Эй, вы, царские дети!». Трудно сказать, хотелось ли при этом деревенским ребятишкам позлить сидящих в лодке или они просто завидовали, злобились оттого, что не плывут сами на этой быстрой, плавно скользящей красивой ладье. А Фрикс обливался холодным потом, хотя лицо у него горело, и старался спрятаться за соседей, как будто ребятишки на скале, едва заметив его, тотчас же сообразили бы, кто он такой, и подняли бы крик: «Это не царский сын, его место здесь, среди нас!». Этот страх, страх самозванца перед разоблачением, погнал его однажды к Аэту и заставил, преодолевая робость, от которой у него подгибались колени, попросить руки Карисы. И вот он прилепился к тому, чего боялся, оказался в самой тесной близости с той, от кого хотел бы бежать, ибо полагал, что так скорее останется незамеченным его обман, эта ложь, что обвилась вокруг него, как дремлющий удав вокруг кролика, чтобы проглотить его, как только проснется. А кролик должен покорно ждать, кролик не может уйти, потому что змея зачаровала его.

Потом родились дети — и надежно, казалось бы, скрытый обман разросся, учетверился, потому что сыновья Фрикса были по сути плодом этой лжи. Фрикс сразу почувствовал всю тяжесть своей вины: теперь четверем его сыновьям предстояло обманываться до конца жизни, так никогда и не узнать, что хлеб, который они ели, давался им из милости, что они были чужаками, прокравшимися во дворец, беженцами, выметенными метлою судьбы из полуразваленной хижины.

Фрикс не имел больше сил так жить: на что он был нужен, что он делал на свете? Ничего не делал и никого не интересовал. Нужны были его гнездо и могила, а не он сам. Его гнездо и могила. Так ведь ему и было сказано: ~~ничего~~ ~~нужно~~ ~~ему~~ ~~нужно~~, кроме гнезда и могилы. Гнездо он уже свил, вернее, таинственная рука с черными ногтями забросила его, как кукушкино яйцо, в чужое гнездо, чтобы, едва вылупившись, он начал заботиться о могиле. А хозяин, заботник, у могилы найдется позднее и очистит ее от чертополоха. Но пока что чертополохом заросла душа Фрикса, и Фрикс должен был сам от него избавиться. До каких пор ему было оставаться заживо похороненным — и ради чего? И однако... Однако не так просто было нарушить четвертьвековое молчание, забыть четвертьвековую покорность, оплатить четвертьвековые долги. И все же он решил свести все счета с действительностью, столько лет заставлявшей его пасть, пригнув по-овечьи голову, на чужом лугу, так долго принуждавшей его лгать и притворяться, как сидельца в лавке. Он должен был внушить сыновьям отвращение ко всему тому, что их окружало, он должен был выкупить и себя, и их из плена и вместе с ними возвратиться в «сказочную страну», пропахшую тыквенными семечками, затянутую плесенью, пропитанную желчью и ненавистью, но собственную, нераздельно и неоспоримо свою. Вот почему Фрикс три месяца копал землю, протягивая ров от гор к городу, вот почему соорудил источник на площади — больше ему нечем было заплатить выкуп за себя и за своих детей. Фрикс был счастлив, когда стоял с заступом во рву — рядом с ним были сыновья, он слышал их частое дыхание и твердо знал, что они его никогда не покинут. Но все оказалось тщетно, он умер раньше, чем думал, — впрочем, в то время он вовсе не думал о смерти, смерть была последней статьей его договора, и исполнять эту статью он не собирался, ибо именно против нее возмутился через двадцать пять лет всем своим существом. Но, по-видимому, его бунт был запоздалым — или, попросту, ему не суждено было уйти из мира, оставив по себе память как о неверном человеке. Все произошло в точности так, как было условлено между ним и теми неизвестными, кому нужны были только его «гнездо и могила» в этой далекой стране. Помимо своей воли Фрикс честно выполнил условие. Впрочем, он умер счастливым, думая о том, что на деньги, врученные за его «гнездо-могилу», мать долго еще будет варить похлебку для Геле в день поминовения мертвых.

Вот какова была горькая правда, вкус которой внезапно почувствовал Аэт через четверть века. Когда Медея вошла, Аэт сидел на троне и думал о Фриксе. Он уже давно догадался, что Фрикс был только первой волной, докатившейся сюда от какого-то далекого, враждебного берега; шелковисто-нежная и бесшумная, волна эта лишь примерилась к здешним берегам и так же бесшумно ушла в песок, оставив легкую и белоснежную, как сливовый цвет, пену. Запах морской пены источали ведь и волосы Фрикса — об этом вспомнил Аэт сейчас, через четверть века. Аэт с детства любил этот запах; мальчиком он растягивался ничком на берегу и лежал, улкнувшись лицом в

мокрый песок, так что набежавшая на берег волна перекатылась через него, и Аэт слышал, как шипит на его голой спине оставленная ею пена. Море притягивало, всасывало обожженное солнцем тело Аэта, вымывало с шорохом из-под него песок и гальку, но Аэту удавалось удержаться на подвижном берегу. Так играл он с этой могучей стихией, которая старалась похитить его, но не могла справиться с гибким и мускулистым юным телом. Этот маленький мальчик уже так хорошо знал море и все его повадки, что мог, не отрывая лица от песка, оценить по шуму величину и силу волны, угадать, когда и как ударит его скатывающаяся вода, и ловко, своевременно уклониться, так что обманутой волне удавалось подхватить и унести лишь песок и щепки. С тех самых пор, с детства, Аэт знал, что за одной волной последует другая и что каждая следующая будет сильнее предыдущей. Вспомнил же он о волнах, потому что думал о Фриксе. Фрикс был первой волной, его сыновья — второй; за второй волной последовала третья в обличье улыбающегося чужестранца, а за третьей, разумеется, должна накатить четвертая, ибо таков порядок, закон, установленный самой природой. Какой будет новая, четвертая волна — вот что старался угадать сейчас Аэт; она должна была оказаться сильнее, напористее, опасней предыдущей, и Аэт встревожился, всполошился так, словно был прежним мальчишкой, простертым ничком на песке, и опромный, увенчанный мутной пеной вал шел на него, встав на дыбы.

Медея протягивала ему гроздь черешен. «С чего это моя дочка решила явиться ко мне с гостинцами?» — подумал Аэт.

— Отведай черешен, отец, — улыбаясь, сказала Медея.

— А если я отведаю черешен, что ты потом мне скажешь? — спросил Аэт, и вдруг ему захотелось черешен, потому что он чувствовал неприятный вкус во рту.

— Мне понравилась ветка, и я отломил ее для тебя, — сказала Медея. Аэт оторвал одну ягоду от грозди и положил ее в рот, испытующе глядя на дочь: «Небось, не за этим только она пришла!».

Медея выдержала пристальный взгляд отца — до тех пор, пока Аэт не погрузился в сон, простодушная улыбка не сходила с ее лица. Аэт же заснул так внезапно, что не успел выплюнуть косточку.

«Как состарился мой отец», — подумала Медея с болью в сердце.

Аэт спал: приготовленное Медей зелье сразу одолело его, седая, косматая голова свешивалась на грудь; спящий, он казался еще более могучим и грозным, чем обычно.

Медея сразу нашла ключ от стенного шкафа, потому что знала, где искать: ключ был вплетен в волосы Аэта на затылке. Теперь нужно было отодвинуть от стены трон, который был приставлен как раз к закрытой ковром дверце ниши, где висело золотое руно. Медея навалилась на трон, но не смогла сдвинуть его с места. «Помоги!» — позвала она чужестранца, спрятавшегося за мраморной колонной. Чужестранец подбежал и легко отодвинул тяжелое кресло с львиными лапами, в ко-

тором сидел грузный царь — дарующая силу «мазь Амраи» успела уже впитаться в его тело. Аэт спал, но все слышал и даже видел, потому что сон его был искусственный и лишь затуманил, но не отнял у него сознание. Он почувствовал, как до него искала у него в голове, словно его одолевали насекомые; почувствовал, как его вместе с тронном вытащили на середину, увидел, как открыли дверцу ниши и поспешно закатали в ковер баранью шкуру; золотое руно сверкнуло и озарило дворец Аэта в последний раз. «Скорей, скорей!» — лихорадочно повторял чужестранец, и Аэту хотелось крикнуть: «Эх, ты, трус, баба, тебе не меч держать, а веретено» — но голос, так же как руки и ноги, не повиновался ему. Он был словно не в этом мире. Одно лишь успокаивало его: то, что на чужестранце было женское платье. «Чего ради мужчина нарядился бы женщиной? — думал Аэт. — Наверное, все это мне снится».

Как только сонное зелье потеряло силу, он закричал страшным голосом: «Медея!» — и вскочил с трона, но Медеи и след простыл. Поздно было хвататься за голову и сверкать очами, ошибка была допущена много лет тому назад, а сегодня Аэт лишь вкусил горький и терпкий плод этой ошибки. Внуки его — чужое семя! — возвращенные им, вскормленные его хлебом, отплатили злом за доверие и доброту. Случилось то, что должно было случиться. При первом же представившемся случае они приняли сторону своего соотечественника, человека, которого видели в первый раз. Чуждый и необычный, он был тем самым привлекателен, а голос крови подсказывал им, что и они могли бы быть такими, если бы судьба их сложилась иначе. Сделав это открытие, сыновья Фрикса в одно мгновение забыли любовь и заботу, которые окружали их с детства, и тем самым помешали им «стать такими». И они, не задумываясь, пошли на службу к заморским разбойникам, как будто ничем иным не могли доказать свое греческое происхождение.

Такова природа изгнанника, пригревшегося под чужим кровом. Он, конечно, благодарен за приют, за то, что ему дали, потеснившись, место у огня, за то, что с ним разделили хлеб; но душу его гложет зависть оттого, что у него нет своего хлеба, своего крова, своего очага. Правда, ты, приютивший его, вовсе в этом не виноват, но его тайная ненависть направлена на тебя, гостеприимца и благодетеля, поскольку ты имеешь все, чего нет, но могло бы быть у него; и его возбужденный мозг сверлит вопрос: почему другой обладает всем тем, что он утратил? И к тому же он еще должен быть благодарным! Эта вынужденная благодарность унижительна, она сама по себе, помимо воли благодетельствованного, возносит благодетеля на недостижимую высоту, утверждает его превосходство. Чем щедрее, чем милостивее покровитель, тем неумнее и неодолимей горечь и злоба, возбуждаемые им в том, кого он пригрел. Щедрость подавляет, чем она больше, тем неоплатней, тем тягостней долг, возмещения которого, быть может, и не ждуть, но ведь слово «долг» само по себе подразумевает неизбежность оплаты! И оплачивают подобный долг обычно так, как это сделали сыновья Фрикса: изменой, злодеянием, кровью, для того чтобы доказать тебе, милосердному и доброму, что они и сами чего-то стоят, что они не просто побирушки, ждущие

чужих милостей. О, они постараются довести милостивца до того, чтобы ему самому пришлось молить о милосердии; и если добьются своего, тогда уж покажут, как они умеют расточать милости и щедроты. Они уже узнали на твоём примере (ты же пытали на самих себе), сколько зла могут принести нерасчётливая щедрость и бессмысленная доброта. Они ведь всегда тайком смеялись над тобой, когда ты поровну отламывал хлеб им и своим детям; когда с чрезмерной строгостью наказывал своих детей за то, что они причинили случайную обиду им, чужому семени, вечным изгнанникам, и тем, разумеется, творил зло вместо добра. Прежде всего потому, что впущенный в дом чужой человек, кем бы он ни был, никогда не будет клясться солнцем хозяина, ибо ближе чужого солнца ему собственные тыквенные семечки и до того, как он явился сюда, у него было свое солнце, которое где-то еще существует, а из-за дальности и недостижимости стало ему еще во сто крат дороже. Твое солнце никогда не сможет заменить ему то, далекое, собственное, но напомнит о нем и опечалит, озлобит. Изгнанник глядит на чужое солнце, а перед глазами у него свое, ест чужой хлеб — и грезит о своем, пьет чужую воду — и слышит журчанье родного ручья, ибо такова природа человека — нет, не человека вообще, а изгоя. И во-вторых... Во-вторых, твои бесконечные проповеди о любви к людям создали у твоих собственных детей, которые слушали их годами, неверное представление как о человеколюбии, так и о жизни вообще. Твои дети поверили, что всюду, где бы они ни очутились, их примут так же радушно и щедро, без всяких расчетов и подозрений, как ты принял Фрикаса. Горькими оказались последствия этого заблуждения для твоего потомства и особенно — для твоей младшей дочери. Но какая девушка пятнадцати лет сумела бы с самого начала трезво оценить чувство, для которого родилась на свет, служить которому, как воин своему знамени, она была предназначена? Не смогла этого и Медея — и теперь ей суждено было всю жизнь, распростертой, как труп, на ложе любви, кричать, не размыкая уст: «Потому что я любила! Любила! Любила!». Не размыкая уст — оттого что громко, во всеуслышание она не осмелилась бы произнести имя единственного своего вечного божества, всесозидающего и всеразрушающего.

Теперь уже Аэт твердо знал, что совершил ошибку, ибо именно мальчики Карисы, Фриксово отродье, восстановили против него и мать свою, и тетку, родных дочерей Аэта, и провели, как сосунка, его, человека, который безмерной мощью своей и громовым голосом был подобен самому богу войны. Но душа Аэта противилась признанию ошибки, не позволяла называть ошибкой то, что он считал долгом человека, увидеть зло в том, что он воспринимал как добро. Нет, Аэту не нужно было такое знание, он ничему не мог научиться из подобного опыта, и явись сейчас к нему, обманутому и ограбленному, еще один бездомный и гонимый бродяга, он по-прежнему, ни о чем не спрашивая, принял бы его, приютил и обогрел, а уж потом стал бы проявлять любопытство. Вот почему он ходил полный недоумения по дворцовому двору, разводя руками и бессмысленно улыбаясь. Он не мог, не хотел поверить. То.

что, усыпленный зельем, он видел въяве, сейчас, после пробуждения, казалось ему сном.

А Медея была уже далеко. Лишь отрезанную лос нашли на ее постели — оставленную, должно быть, для матери, на память о бесповоротном ушедших девических годах.

Весь город встал на ноги. Из гавани один за другим выходили в море ощеренные копьями воинов корабли, а на носу передового корабля стоял сын царя Аэта Афрасион. Ему предстояло вернуться на этом же корабле — вернее, на этом корабле должны были привезти его труп вместе с множеством других. Афрасион это знал и все же ушел в море, отправился в погоню, ибо таково было веление рока.

Аэт был уверен, что его быстроходные корабли настигнут разбойников, и уже раздумывал о том, как кого наказать. Впрочем, в глубине души его не интересовал никто, кроме Медеи. Рядом с Медеей все выглядели ничтожными и бесцветными. И однако у всех было то или иное оправдание — у всех, кроме нее: Медея изменила отцу без причины, и это-то повергало Аэта в изумление. Настолько неожиданным было для него предательство дочери что он даже не пытался найти для него объяснения. Вся кровь кричала в нем от боли, он кружил по двору, как смерч, и рычал: «Медею! Медею дайте сюда!».

О Карисе, которая более чем кто-либо другой чувствовала себя виновной, и не вспоминали, никому и в голову не приходило ее обвинять; убедившись, что ее не замечают, она почувствовала отвращение к людям вокруг себя — ко всем тем, перед кем она так долго притворялась, боясь, как бы не угадали, что муж и сыновья отвернулись от нее. Она страшилась позора, а оказалось, что никто ею не интересуется, никому, никому она не нужна. «Медея!» — рычал ее отец, «Медея!» — слышался шепот в каждом углу дворца. А она, оказывается, даже не могла совершить преступления, она была никем, пустым местом, которое разве что можно украсить цветком, движущейся и говорящей куклой, игрушкой для детей — нет, она даже не была куклой, она просто не существовала. Спрятав голову в плечи, истаявшая в одну ночь, как свеча, бродила она без цели по залам и переходам дворца и болезненно, точно присыпанную солью грызущую рану, ощущала свою неprisутствие. Перепуганная челядь, без толку носившаяся по дворцу, то и дело натыкалась на нее, отталкивала ее в сторону, прочь со своего пути. То ли она ослепла и обезумела от страшнейшей беды, то ли в самом деле никто уже не замечал или не узнавал ее. Да и кому нужна была женщина, которой муж предпочел могилу и с которой собственные сыновья обошлись, как с площадной потаскухой: получили обманом то, что им было нужно, и поспешно выскользнули из ее каморки. «Быть может, меня и вправду больше нет», — думала Кариса, но чувствовала, что она еще жива, и это пугало ее, так как все ее существо было пронизано неукротимой, неодолимой ненавистью. Еще никогда не ощущала она жизнь с такой остротой, потому что не желала ее больше, была сыта ею по горло; жизнь, казалось ей, смердела, тяжкий дух падали, разложения, несчастья бил Карисе в ноздри. Все ей омерзело, все были ей отвратительны, но особенно Медея, потому что Медея превзошла, победила ее,

потому что Медея оказалась не такой, какой притворялась всю жизнь и какую мечтала быть на самом деле Кариса, только это не удавалось ей, ведь она ничего не хотела отдать и ни от чего не могла отказаться, хотя и требовала от других того, на что сама была неспособна. И вот все убежали от нее, покинули ее тайком. Медею же не покинули, а захватили с собой, похитили. И кто был похитителем? Настоящий мужчина с звериным блеском в глазах, у которого не подламывались колени, как у Фрикса, потому что он знал, чего хочет, зачем хочет и до каких пор это ему будет нужно. А Карисе так и не довелось узнать, что такое настоящий мужчина, потому что она была тороплива, нетерпелива, глупа. Разве не собственное ее недоумие было виной тому, что в постели у нее оказалась рыба, жаба, медуза? Только ее недоумие, исключительно ее глупость. Да эта самая жаба еще и побрезговала ее ложем, выскочила вон из ее постели! «О-ох! Сгинь все и провались, чтобы не осталось камня на камне!» — проклинала все и вся Кариса, и ледяной холод, поднимавшийся из глубинного мрака души, пронизывал ее до костей, так что губы у нее синели, и она содрогалась, следом похищенная сестра сдернула с нее одеяло, обнажила перед целым светом покинутую, униженную, поверженную Карису.

Через две недели на горизонте показался корабль. Он приближался медленно-медленно, как бы сопротивляясь тащившей его невидимой руке.

Город притих, замер. Все высыпали на берег. Аэт, поднявшись на зубчатую стену, вглядывался в морскую даль, не сводил глаз с одинокой черной точки, что росла, как надвигающееся грозное облако.

«Корабль Афрасиона!» — угадал кто-то, и у Аэта перехватило дыхание. Вскоре различили человека на мачте. Человек корчился и извивался — казалось, к верхушке мачты привязали дракона — бил себя обеими руками по голове и что-то выкрикивал. Наконец донеслись до берега его слова. «Плачьте, ванды! Плачьте!» — кричал человек на верхушке мачты.

Корабль был завален трупами воинов. Целые горы их громоздились на палубе; с почерневшего от крови борта свешивались ооченелые, скрюченные руки и ноги, головы с остекленелыми глазами и оскаленными зубами.

Сначала вынесли на берег труп Афрасиона. А потом на судно хлынула толпа. словно куры в мусорной куче, копались люди в грудах трупов, разыскивая своих мертвецов; и лица были у них такие, что, казалось, не найди каждый из них того, кто ему нужен, сердце у него разорвется от горя.

У Афрасиона зияла на боку глубокая рана, жуткая и безобразная, похожая на распяленный жабий рот. На ране запеклась кровь. Аэт опустил на колени около мертвого сына и долго смотрел в его бледное, бескровное лицо — словно мертвец мог сказать ему что-нибудь. Спокойным и странно, ужасающе безмятежным было мертвое лицо Афрасиона; беззаботно распростерся он у ног своего отца — безмолвный, от всего отрешенный и ко всему одинаково равнодушный.

Аэт осторожно погрузил руку в рану Афрасиона и размазал сгусток крови по своему лицу.

— Измена, люди! Измена! — кричал человек на мачте, Спящих нас перебили, люди! Спящих!

Корабль был уже пуст, а он все сидел на мачте и не собирался спускаться — как будто сам перебил все это множество людей и боялся возмездия; сидел на мачте и бессмысленно вращал вылезавшими из орбит глазами. Два дня и две ночи метался на мачте безумец, два дня и две ночи причитал без умолку, рассказывая городу печальную и ужасную повесть, свидетелем которой он был и которая лишила его рассудка.

— Сестра заманила Афрасиона, люди, родная сестра. А чужестранец вонзил ему в ребра меч, — причитал безумец.

Через двое суток ванцы, потеряв терпение, подрубили топорами мачту у основания; верхушка мачты, упав, ударилась о берег и раздавила привязанного к ней человека.

Прошло немного времени, и снова в море показалась черная точка. Это был передовой корабль. Вскоре горизонт весь потемнел, словно залитый дегтем, от внезапно возникших на нем черных критских кораблей. Четвертая волна стремилась к берегам Колхиды. Величайший из царей долго готовил эту волну, ждал этого дня. И вот долгожданный день наступил! Сегодня должно было завершиться задуманное и начатое много лет назад дело. Все для этого было готово. Дальше медлить не имело смысла. После того как Ясон отплыл в Колхиду, в Кносской гавани постоянно толпился народ. Омытые морем до блеска, черные как деготь корабли тихо покачивались на усмиренных, обесиленных волнах, нацелясь длинными, заостренными, как копыя, носами в морскую даль, в пространство, отделявшее их от врага. И людям было любопытно узнать, куда именно, в чью сторону направлены отточенные носы этих воинственных кораблей. В общем-то все было им давно знакомо. С давних пор привыкли видеть критяне, как внезапно оживлялся и уходил в море их непобедимый флот, они любили провожать его, любили и встречать, потому что никогда еще не возвращался он без добычи. Неделями разгружались вернувшиеся корабли, неделями изрыгали их набитые утробы награбленное добро. Мычал похищенный скот, пестрый, запыленный, с присохшей на боках грязью, с приставшим к хвостам и складкам кожи на шее репьем со своих родных лугов; скатывались по сходням бочки с вином и маслом; сползали сундуки и тюки: всхлипывая, спускались заплаканные, бледные, похожие на взъерошенных птенцов, мальчишки и девчонки; покачивали станом истомленные бессонницей женщины со спутанными волосами, в платьях, изодранных словно для того, чтобы явственнее бросилась в глаза их чужеземная масть и плоть. «Слава Миносу!» — кричали возбужденные зрелищем трофеев горожане и забрасывали цветами закованных в тяжелые доспехи чванных воинов, что ползли, как огромные жуки, по узким кносским улицам. От воинов шел смешанный запах ран, пота и побежденных стран.

Кносцы не ошиблись и на этот раз — снова корабли готовились к бою, но против кого их направлял теперь Минос, никто не знал. Любопытство кносцев было возбуждено, и аппетиты разожжены до крайности. «Скажи, будь другом, каким вином, из каких краев добытым, собирается поить нас Минос?

И уроженку каких земель я получу за свои кровные, скопленные денежки?» — весело переговаривались кноссы, избалованные победами, уверенные, что и на этот раз все будет так, как бывало всегда.


А Минос знал уже двадцать пять лет тому назад, куда направятся сегодня — да, именно сегодня — его черные корабли. Правда, все получилось не совсем так, как было задумано, но сейчас уже нельзя было медлить. Минутная проволочка — и двадцать пять лет терпения могли оказаться напрасными, сеть, которая плелась в течение четверти века, могла прорваться и все пришлось бы начинать сначала. Минос ожидал в этот день из Колхиды известия о смерти Ясона — радостного известия, потому что так все было задумано, и он был уверен, что Аэт разорвет на куски безмозглого юношу, явившегося к нему с дерзким требованием: «Отдай мне золотое руно, я пришел за ним». «Хе, хе...» — воображая встречу Ясона с Аэтом, всякий раз от души смеялся Минос, столь нелепой представлялась эта беседа величайшему из царей. А получилась и в самом деле нелепость: десятилетний мальчик лучше уразумел, что от него требовалось, нежели этот верзила, искатель престола. Фрикс добросовестно исполнил данное ему поручение — завел в чужом краю и гнездо, и могилу. В гнезде оперились преданные Элладе птенцы, в древесной могиле покоились останки царя одной из греческих земель, да, да, греческого царя, и никто не мог помешать убитой горем отчизне присесть около этой могилы, чтобы оплакать его. А Ясон все запутал, потому что предпочел царский венец посмертной славе героя. Минос собирался повесить окровавленную тунику Ясона на носу своего передового корабля, но вместо туники явился сам Ясон с золотым руном, да еще с дочерью Аэта в придачу. Кому они были нужны — и сам Ясон, и баранья шкура, и эта колхская царевна? Несчастные дети! Это богиня любви вырвала их из кровавых когтей Аэта. «Несчастные дети!» — так именно выразился Минос, когда ему доложили, что Ясон вернулся из Колхиды вместе с дочерью Аэта. Он тотчас же догадался, почему все произошло не так, как он задумал и предвидел. Он допустил ошибку, проявил совершенно непростительную непредусмотрительность — он, величайший из царей, Минос! Он упустил из виду Медею. Медея! Минос знал, что ради спасения собственной шкуры Ясон пойдет на все, пролезет сквозь игольное ушко, обнюхает каждый угол, как волк, но не знал, вернее, упустил из виду, забыл, что в одном из этих углов Ясон может набрести на Медею и кукла эта станет его спасительницей. Всегда находится какая-нибудь глупая девчонка, чтобы впутаться в дело и опрокинуть планы мудреца, выношенные за двадцать пять лет, обдуманнные, взвешенные, вымеренные, рассчитанные до последней подробности. Таково ведь предназначение Медей: спасти от гибели обреченного мудрецом на гибель — чего бы ей это ни стоило. Так и случилось. Героя из Ясона не вышло. А Миносу необходим был герой — нет, не герой, а кровь героя, которая, однако, по милости глупой девчонки не пролилась, а не пролитая не имела никакой цены. Минос ведь ясно дал понять Ясону, что от него требовалось. Он много чего го-

ворил юноше, но если Ясон был в самом деле так умен и сообразителен, как хотел казаться, то должен был прислушаться лишь к одному-единственному слову Миноса и поступить так, как обязывало его это слово — короткое, всего из двух слогов, но так много подразумевающее. Когда Ясон впервые явился к Миносу по его приглашению, тот долго не обращал на него внимания, как бы не замечал пришедшего, разговаривал с другими, но внимательно следил за Ясоном, присматривался, изучал его, решал — можно ли бросить ему это короткое двухсложное слово. Внешность у Ясона была под стать герою — он был красив и молод, гибель его должна была потрясти сердца. Минос внезапно повернулся к Ясону и спросил: «Кто ты такой?». «Я сын прежнего и племянник нынешнего царя Йолкоса», — не задумываясь, ответил Ясон.

— Нет! — вскричал Минос. — Ты герой!

А герой похитил девушку и из-за паршивой бараньей шкуры навлек на Миноса смертельную вражду Аэта. Ясон оказался так же глуп, как Медея, ни тот, ни другая не поняли своего долга, но нельзя же было теперь Миносу оттолкнуть несчастных детей! Трудно, о, как трудно быть всеобщим покровителем! Но, хотя вышло так, что Минос не мог повесить залитую кровью тунику Ясона на носу передового корабля, повод для войны у него все же имелся. За его послом, Ясоном, отрядили погоню, потому что не отдали ему сразу шкуру барана и вынудили его эту шкуру украсть — да, да, украсть паршивую овчину, какая надета на каждом пастухе, на любом встречном! И девушку не хотели ему отдать, так что пришлось ее похитить, тогда как в любой стране сочли бы за счастье получить в зятья греческого царя! Хорошо что у этих несчастных детей имеется защитник и покровитель! Величайший из царей должен быть заступником оскорбленных и униженных. Сейчас не время было сводить счеты с Ясоном, да и не стоило. Ясон или, вернее, Ясон-и-Медея если не полностью, то хоть частично выполнили то, что им было поручено. Не так, как это от них требовалось, но так, как это оказалось в их силах. И хотя Ясон провинился, вину его можно было простить. Самое главное, что зверя удалось выманить из берлоги; зверь оказался, высунулся наружу и уже ослаблен, потому что одного детеныша взяли у него живьем, а другого кинули ему мертвым. О, Ясон! О, Ясон-и-Медея! Чего не совершит человек по велению богини любви! Предлог для войны существовал, но ему не хватало изящества, совершенства, подходящих творению Миноса; предлог может считаться изящным и совершенным, если он обгарен кровью своих, близких, а не кровью противника; вражеская же кровь должна быть пролита именно в силу этого предлога. Все уже было выяснено до конца, каждый участник дела знал, кому какая принадлежит заслуга и кто какую получит выгоду.

Ясон уже тогда, на двенадцативесельном корабле, в зарослях полноводной реки, окутанной колхидским туманом, понял, что был лишь камнем, пущенным, чтобы выманить затаившегося в кустарнике зверя, камнем или комком земли, которым нисколько не дорожили. До его жизни никому не было дела; уйдя он целым от одного — его растерзает другой: обоня



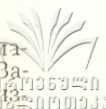
нужно увидеть кровь, чтобы, разъярившись, наброситься друг на друга. А Ясон и тогда, и темерь хотел только одного: уцелеть, спасти свою шкуру. Но и для этого понадобилось пролить кровь, да, кровь брата той самой девушки, которая сохранила, которая подарила ему жизнь: по ее милости он как бы родился во второй раз. Что ж, так, конечно, было лучше и для него, и для той девушки, если она в самом деле любила Ясона. Да, да, так было лучше для всех. К тому же скоро прольется целое море крови, и кровь брата Медеи — эти несколько капель — исчезнет, затеряется в нем. И все окажутся одинаково правыми или равно виноватыми перед лицом богов. Чему быть, того не миновать — и неминуемое уже надвигалось. Черный флот Миноса затемнил горизонт жителям Вани. Флотом предводительствовал Окаджадо.

Это был племянник Аэта, сын его двоюродного брата Окаджадо-старшего, последняя опора отца, последнее его упование на мечь, отпрыск оскорбленного человека, которого Аэт некогда поколотил ягненком и который угас где-то на другом краю земли, испепеленный надеждой или отчаянием; но из его почти остывшего пепла вырвалась перед самым концом единственная искра, чтобы рассеять непроглядную ночь его неотмщенной обиды, его непобедимой старости, его бесконечного ожидания. Когда жена Окаджадо-старшего забеременела, он возрадовался тому, что боги не отвернулись от него и вот представляют новый, ненадтреснутый сосуд, в который он сможет перелить почти иссякшую свою надежду, свою злобу и свои стремления. А когда жена разрешилась, поздравила его с сыном и спросила, как он хочет назвать наследника, он долго думал и наконец сказал: «Пусть ходит по свету еще один Окаджадо». Но дожить до желанных дней ему не довелось. Его сын еще крутил волчок во дворе, когда он сложил свои земные пожитки и отправился в страну мертвых. Так было лучше для него — в мире и уповании закрыл он глаза, отрешась от этого свирепого, коварного и безжалостного мира.

Когда Окаджадо — младший подросток, всеобщий названный отец, величайший из царей, поведал ему то, о чем не успел сообщить сыну покойный родитель: «Ты — престолонаследник, только царство твое очень далеко отсюда»; потом долго и пристально смотрел ему в глаза — до тех пор, пока на плоском и неподвижном лице Окаджадо не появились, подобно все расширяющимся кругам на воде, в которую бросили камень, первые признаки вызванной его словами неудержимой, животной радости. И наконец спросил: «Хочешь быть царем?», Конечно, Окаджадо хотел этого, могло ли быть иначе, но от волнения не смог ни единым словом выразить свое согласие. Впрочем, Минос сам без труда догадался, что Окаджадо согласен. С тех пор тот ни разу больше не видел величайшего из царей; но и одной этой встречи оказалось достаточно для Окаджадо, чтобы навсегда исполниться благоговения перед величием Миноса, перед этой нерушимой, неприкосновенной, всезатмевающей царственностью, которую излучало все его существо. И после беседы с Миносом, после приобщения к этому нечеловеческому величию (правда, Окаджадо не произнес ни слова, но почему-то у него осталось на всю жизнь впечатление, что он никогда и

ни с кем не беседовал так сердечно, так приятно и так по-деловому) он даже несколько возгордился: дескать, вот как меня оценили, вот чего я стою! И он принялся с того самого дня за изучение сложного, но зато чрезвычайно выгодного ремесла. Окаджадо принял твердое решение взобраться — чего бы это ему ни стоило! — на какой-нибудь трон, чей бы он ни был, где бы ни находился, хоть за девятью горами и девятью морями. Слово «Вани» говорило ему лишь о будущем царском венце, а больше ничего для него не значило. Проживи он хоть десять жизней, никогда его не потянуло бы туда, хотя и прежде, до разговора с Миносом, он слышал о Вани от своего дряхлого отца. «Мы родом из Вани, сынок», — говорил ему отец, прочесывая трясущейся рукой замшелую бороду так, словно отсчитывал дрожащими пальцами запутавшиеся в ней годы ожидания. «Знаю, отец!» — отвечал Окаджадо, норовя поскорее убежать, чтобы завертеть волчок или подстеречь какую-нибудь девчонку на дороге к источнику и ловко брошенным из-за куста камнем разбить кувшин у нее на плече. Окаджадо был тогда еще ребенком, и не мудроно, что беседы с отцом, который годился ему в деды, не занимали его. Но после того, как Минос посмотрел ему в лицо и своим взором навеки оледенил ему кровь, заморозил и обезволил его, как змея — воробья, Окаджадо ни о чем другом кроме Вани больше не хотел слышать. В Вани его ждал царский венец, он мог бы, как величайший из царей, молча и недвижно — без единого слова, без единого жеста — сидеть на троне часами, неделями, годами, вечно. Лишь об одном была его печаль: а вдруг там, в Вани, когда он будет царем, его потянет в здешние места? Что тогда делать? Но печаль эта была пуста, беспочвенна, она лишь помогала коротать, торопила тянущееся в ожидании время, подобно тому, как собачонка, внезапно выскочив из-под плетня, подгоняет лениво плетущееся с пастбищ сытое стадо.

А величайший из царей безмолствовал, медлил — словно вовсе позабыл о своем обещании. Окаджадо знал от матери, что царям свойственно забывать, и в тоске, истомленный неопределенностью и ожиданием, метался взад-вперед по комнате, как лисенок в клетке; когда же мать, бывало, прикрикнет: «Уймись, посиди на месте!» — он застывал, уставившись ей в лицо, словно ожидая от нее ответа и успокоения. А у Цуцы (так звали мать Окаджадо) плоское и невыразительное лицо сына вызывало неудержимую веселость; поддев его за подбородок, чтобы вывести из оцепенения, она порой заливалась смехом и еще долго потом хихикала, прикрыв рот рукой. Смех матери был самым лучшим утешением для Окаджадо. Пока Цуца была весела, пока не хмурилась, ему нечего было тревожиться. Никто не знал лучше Цуцы, что делается во дворце величайшего из царей; знала она и то, чего следовало ждать в близком будущем. «Я тебя родила и я возведу тебя на престол, с которого спихнули твоего отца», — говорила Цуца сыну, и Окаджадо верил ей. Так верят каждому слову надежды и утешения приговоренные к смерти. Окаджадо любил мать, а в глубине души даже побаивался ее, потому что не раз был ею бит. Нет лучшего воспитателя, чем палка, считала Цуца. Она поколачивала Окаджадо за детские его провинности, когда он был ребенком, а позд-



нес, когда он вырос: — всякий раз как он, не спросясь у матери, не посоветовавшись с ней, делал необдуманный шаг. Задумавшись над своим поступком, наказанный Окаджадо неизменно обнаруживал, что мать была права. Впрочем, особенной глубиной мыслей он не отличался ни в детстве, ни когда стал взрослым человеком. У него хватало ума ровно настолько, чтобы убедиться в правоте матери и открыто признать ее. Так, постепенно — разумеется, не без помощи розог и плетков — все его существо прониклось безмерным, смешанным с робостью, почтением к матери, а также, что самое главное, безоговорочным доверием к ней. Но постоянные размышления о будущем царстве, мертвое молчание величайшего из царей и нескончаемое ожидание заставило его, однако, решиться на неосомгрительный шаг. И на этот раз он не спросился у матери и снова горько раскаялся в этом, хотя в конечном счете все сложилось к его выгоде: мать стала его единомышленницей и сообщницей, и союз их, скрепленный грехом и кровью, никогда больше с тех пор не нарушался.

Охваченный нетерпением, не сумев своим скудным умом разобраться в целом облаке неопределенности, окутывавшем его, как жужжащий пчелиный рой, он отправился в один прекрасный день к прославленной кносской прорицательнице, прихватив с собой дар — мешок пшеницы и черно-белого ягненка. Прорицательница непритворно задумалась: ничего нельзя было прочесть на плоском и неподвижном лице Окаджадо, словно это было и не лицо, а маска из обожженной глины. Тогда прорицательница бросила в кипяток зменный зуб и глаз совы, дробила горсть пшеницы и немного шерсти поднесенного Окаджадо черно-белого агнца и мешала в котле извилистой палочкой до тех пор, пока не уварила содержимое его чуть ли не до самого дна. При этом она что-то глухо бормотала. Окаджадо терпеливо ждал и думал о матери: что, если б она сейчас видела его? Голос колдуньи вывел его из задумчивости. «Возьми котелок и влей отвар мне в рот», — говорила ему прорицательница.

— Он же горячий, — встревожился Окаджадо.


— Так надо, — ответила прорицательница, раскрыла рот и откинула голову. Окаджадо сделал так, как ему было сказано. Потом уселся на свое место и уставился пустым, ничего не говорящим взглядом на булькающую, как гейзер, колдунью, изо рта которой вырывался смрадный пар. Долго, терпеливо ждал Окаджадо, но наконец не вытерпел и спросил: «Ну, чем ты меня порадуешь, женщина?». Прорицательница выплюнула остывший зловонный отвар и сказала:

— Эта пшеница выросла на человеческой крови, этот ягненок выкормлен сухой, а ты сам, сдается мне, вовсе не царский сын.

Слова колдуньи обожгли Окаджадо так, как обжигала его щеку материнская оплеуха. «Поделом мне — зачем я сюда, не спросясь матери, притащился?» — подумал он с досадой и ушел огорченный. Казалось, как было не поверить этой проколченной старухе, которая могла без всякого вреда для себя держать во рту кипяток и глотать змеиные зубы и свиные глаза, и, однако, стоило Окаджадо выбраться из ее смрадной лачуги,

как тотчас же увязалось за ним, словно назойливый нищий сомнение, пристало в одну душу: «Проверь! Убедись! Подай мне милостыню — худа тебе от этого не будет». Но что и как мог проверить Окаджадо? Где тот пахарь, который вырастил принесенную им пшеницу, или та безмозглая сука, которая выкармливала барашков вместо щенят? Единственное, что имел возможность проверить и установить Окаджадо — и только это одно занимало и пугало его, потому что как до пшеницы, напитанной человеческой кровью, так и до выкормленных собачьим молоком ягнят ему не было никакого дела, — это свое царское или не царское происхождение. Но к тайне этой имелся только один ключ, который был всецело во власти его матери: и тайна, и ключ к ней принадлежали ей одной. И кто знает, как давно этот ключ, упрятанный в шкапулку времени, был извлечен и проглочен Цуцей в надежде, что он никогда больше не понадобится? Если Окаджадо хотел узнать истину, он должен был победить страх, отбросить на время сыновнее почтение и принудить свою мать, достойную царицу Колхиды и супругу его отца, женщину, принятую во дворце величайшего из царей, извергнуть из себя тайну, родившуюся раньше самого Окаджадо. Но как подступиться с подобной просьбой к матери, да еще такой матери, как Цуца? И однако попрошайка-сомнение не давало покоя Окаджадо, тащилось за ним по пятам до самого дома и даже грозило осрамить его перед целым светом, если он не подаст милостыни. Тут Окаджадо испугался, как бы и впрямь проклятый попрошайка не опозорил его, и даже подумал, что величайший из царей успел узнать о нем все и потому больше не зовет его к себе. Этого уж он не в силах был выдержать, ни минуты не медля побежал к матери и рассказал ей — да так торопливо, скороговоркой, словно передавал чужое поручение, — будто прошлой ночью во сне ему открылось, что, если мать даст ему грудь, он доживет до глубокой старости. Цуца посмотрела на него испытующе, но ничего не смогла прочесть на этом плоском и неподвижном лице, лишь заметила капельки пота, блестящие на прыщавом лбу. «Вырос, возмужал», — подумала она, и дурашливость сына растрогала ее, вызвала прилив материнских чувств. А Окаджадо, дожидаясь, когда мать расстегнет ворот, от нетерпения приплясывал и потирал руки.

Что было дальше, Окаджадо не помнил. Когда он увидел перед собой белую, округлую грудь с уплощенным концом, в глазах у него потемнело, он так стиснул зубами материнский сосок, что и сам не мог разобрать своего бормотания, но Цуца разобрала, поняла и была уязвлена в самое сердце. Могла ли она подумать, что на старости лет напомнят ей о давнем грехе? И кто напомнит — тот, ради кого был совершен этот грех, плод этого греха, зачатое под лошадиное ржанье, в пропахшей сеном и сухим навозом конюшне существо с неподвижным и плоским, как дощатый конюшенный пол, лицом. Цуца с трудом вырвала окровавленный сосок из зубов Окаджадо, распяленного тем, что ему довелось услышать, и собственной смелостью, а у того с подбородка стекала слюна, смешанная с кровью матери, и он даже не пытался отстраниться, чтобы уберечь лицо от ее острых ногтей. А Цуца с такой яростью царапала это



плоское, неподвижное лицо, словно, скатываясь по мокрой и липнистой круче, пыгалась зацепиться за ее скользкую поверхность. Когда же руки у нее обессилели от усталости, она в последний раз выкрикнула: «Да, да, ты — сын конюха и твое место в навозе!» — и выбежала из комнаты.

Окаджадо долго стоял в оцепенении, расцарапанный, с лицом, залитым своей и материнской кровью. Потом понемногу глаза его разгорелись, улыбка, зародившись где-то в углах рта, расплылась по всему его неподвижному лицу — словно солнечные лучи, проникнув через щели в крыше конюшни, заиграли на ее свежевывытом дощатом полу. Неодолимый хохот сотрясал Окаджадо, он катался по полу, хохоча и дрыгая ногами, словно отбрыкиваясь от кого-то, чтобы нахохотаться всласть одному, не делиться ни с кем наслаждением, которое доставляло ему это кувыркание. Окаджадо испытывал благодарность к судьбе, навязавшей царский трон отпрыску конюха. Теперь он готов был отправиться не то что в Вани, а хоть на край света и ни за что, даже под угрозой смерти, не отказался бы от того, что свалилось ему с неба по милости судьбы или благодаря дальновидности его родительницы. «Великая женщина моя мать!» — думал с восхищением Окаджадо.

На другой день конюха нашли в стойле с рассеченной головой. Лошади, чуя поблизости мертвеца, испуганно сбились в углу конюшни и, задрав морды и оскалив зубы, тихо ржали. Одна лишь Цуца знала, где искать преступника, но сын-человекоубийца значил для нее больше, чем краденая любовь одной ночи, которая давно уже отошла в прошлое, тогда как сын был ей нужен для будущего.

Хотя за спиной Окаджадо стоял величайший из царей и хотя победа была заранее ему обеспечена, ибо Аэта сейчас могло сломить не то что войско Миноса, а даже малое дитя, Окаджадо все же не осмелился войти в гавань города Вани; он предпочел путь, разведанный его предшественниками, и ввел свой флот в устье многоводной реки. Здесь, между городом Вани и рекой, он высадил свое войско в ожидании битвы, которая должна была стать для Аэта последней. Аэт потерпел поражение; он знал наперед, что будет побежден, но не хотел оставлять Вани без боя. Новая измена еще более разогла, подавила, обессилила его. Большинство военачальников Аэта, вчера еще клявшихся его именем, неожиданно для всех оказалось в лагере Окаджадо. Беды и несчастья взяли свое, столь долго копившаяся, затаенная скорбь вырвалась наружу и одолела Аэта; боины собственной его охраны вынуждены бы-


ли связать разъяренного, рычащего как лев царя и умчаты его прочь из его же столицы, куда отныне он не мог ступить ногой и где превратная судьба заставила его испытать полную чашу горечи и отведать замешанного на крови хлеба. Беспомощный, тоскующий, как осиротелое дитя, покинул Аэт навсегда свой родной город. Тот, кто слышал, как он рыдал в последние, прощальные минуты, до смерти не мог этого забыть: кто подумал бы, что этот богатырь, этот грозный властитель и воин способен проливать слезы? Но всего удивительней было то, что оплакивал Аэт не свое поражение, не предательски убитого сына, не разоренное свое гнездо, а свою младшую дочь, едва ли не виновницу всех своих бед и злоключений. «Что с тобой станется без меня, несчастное мое дитя!» — причитал, как женщина, Аэт.

А на берегах полноводной реки все еще продолжалась битва. Красными, как лапки голубя, стали от крови стволы и корни прибрежных ветел и ив. Верные воины Аэта, хотя царя уже не было с ними, не отступали ни на шаг и все до одного полегли на поле сражения.

Когда Окаджадо вступил в Вани, жители города — а может быть, высланные завоевателем вперед люди (это так и осталось невнятным до конца) — устлали коврами улицы от самой городской стены до дворца Аэта, а ковры усыпали цветами. В мертвом молчании ожидал город победителя, словно одновременно утратив способность к сопротивлению и умение ликовать. Впрочем, какой-то житель Вани пустил струю мочи со своей плоской крыши на устланную коврами улицу, и когда один из воинов Окаджадо вонзил ему в горло копьё, вместе со струею крови из его глотки вырвалось: «Слава Аэту!».

А на полноводной реке яблоку негде было упасть. Подходили и подходили один за другим корабли, привозили войска и семьи тех, кто некогда был изгнан Аэтом. Мечь изливалась из колодца. Возвратившиеся на родину, не дожидаясь остановки корабля, бросались с борта в воду и пускались вплавь к суше, потом брели по пояс в воде, потом ползли на четвереньках и, взобравшись так, ползком, на вожделенный берег, неистово целовали землю, давились грязью и илом.

Сказано -- ничтожный комар одолеет коня, если на помощь к нему придет огромный и могучий волк. Так все и вышло. Берега реиссяжаемой реки наполнились толпами мстителей. Многие из них родились далеко, на острове девяноста городов, в винно-красном море, но отец и мать с младенческих лет внушали им любовь к утраченной родной земле, и сейчас они соперничали между собой, выражая эту любовь.



Матери совали грудных младенцев головами вперед в мутные волны, словно прополаскивали грязные тряпки, и смеялись от души при виде своих ревущих сосунков, у которых из ноздрей и ушей текла струями вода, смешанная с песком. «Омывайтесь! Смывайтесь!» -- кричали в восторге женщины и, выйдя на берег, степенно шагали в своих мокрых, прилипших к телам платьях, словно только что изваянные из глины. Люди собирались с песнями в тени ветел и ив — впрочем, они скорее кричали, а не пели, только для того чтобы услышать свой голос. Лица у всех были залиты слезами, но никто не чувствовал этого, никто не различал — слезы это или речная вода, из которой они только что вышли. На берегу стало так тесно, что негде было поставить ногу; многие, стоя по пояс в воде, вторили оттуда песне возвращения в отчизну или присоединяли свой голос к общему гаму. Все это множество бездомных людей превратилось вдруг в одну сплоченную, бурлящую, плачущую, поющую и галдящую массу, и одно общее небо, небо радости, сияло над всеми. Да, всех обуревала радость, пока еще стихийная, смутная, безотчетная, но все же радость. Трудно было понять, где она начиналась и где кончалась, — она все не могла сдвинуться с места, все топталась, переминалась с ноги на ногу, пока между этой необъятной пестрой массой и стенами желанного города бушевал рукопашный бой — нескончаемый, безжалостный и кровавый.

Берега полноводной реки представляли собой трогательное и вместе с тем ужасающее зрелище. Сама же река была вся, от одного берега до другого, покрыта пестрыми лохмотьями, набитыми сеном куклами, заткнутыми камышом кувшины, головными платками, обломками весел — всяческим хламом, который обронили или от которого избавились, выходя на берег, люди. Речные волны медленно кружили все эти ненужные дары, собирали их в островки, подобно тому, как пастушеские собаки сбивают овец в отару, и уносили в открытое море.

Конец первой части.

Перевод Элисбара АНАНИАШВИЛИ


СОРОК ЛЕТ — ПОЭЗИИ

Иосифу Нонешвили — истинно народному поэту не только по стиху, но по натуре своей и по всенародной любви, им завоеванной, — исполнилось шестьдесят лет. Сорок из них безраздельно и не переводя дыхания он отдал поэзии, то есть родине и родному народу. Как бы ни складывалась жизнь Иосифа Нонешвили — детство рано осиротевшего мальчика было безрадостным (в той мере, в какой детство может быть безрадостным), в остальном же удача не покидала его даже в самые сложные и трудные времена, — поэтическая звезда его всегда была счастливой; хотя бы по той столь же естественной, сколь и редкой причине, что он был рожден поэтом и поэтический



голос ему был дан природой, как дается бельканто певцу — Карузо это или Сараджишвили. Я сознательно припомнил здесь для сравнения теноров — есть и в поэтическом тембре Иосифа Нонешвили нечто такое задушевное, сладкозвучное, обволакивающе-завораживающее, чего, как правило, и не следует искать в баритональном звучании или раскатах баса.

Да, именно сорок лет назад появились в печати его первые стихи, до сих пор оставшиеся антологическими и лишь поддержанные в своей чарующей силе и гипнотической пленительности дальнейшими удачами поэта. А их было много, хотя были и перебои, в которых меньше всего был повинен сам поэт, а скорее перебои самого времени и атмосфера, его сопровождающая. Но даже во временных своих заблуждениях и иллюзиях поэт был всегда искренен, а главное, он не терял врож-



денного таланта меняться вместе с вечно обновляющейся жизнью — человеческой, общественной, социально-правовой. Направление этих перемен в поэте и его целеустремленность раз и навсегда были predeterminedены и предужазаны опять-таки врожденным свойством его таланта — бесконечной добротой, любвеобилием, щедростью души и слова, в котором эта душа была запечатлена. Конечно же, доброта эта была не слепая, она всегда была зоркой и чуткой, ибо опиралась на такие не подлежащие девальвации, а тем более инфляции, ценности, как Родина, Мать, Дружба, Человечность, Семья, Любимая, Труд, Песня, Поэзия. И, как говорят ученые мужи, амбивалентная природа этих опорных понятий всегда содержала в себе мысль о Грузии как о неповторимой и незаменимой частице благородного человечества. Поэтому даже чисто географические — а затем и тематические — маршруты поэта, стартовавшего в кахетинском селе Карданахи, получившего вечную прописку в возлюбленном Тбилиси, ставшего своим в Москве и Киеве, объездившего с дружеской улыбкой полмира, если не весь мир — от Эфиопии до Штатов, — маршруты эти в душе и стихах поэта в силу какой-то явно неэвклидовой закономерности всегда оказывались пересеченными родными, грузинскими тропами и тропинками. Даже в интимной лирике поэта прекрасная Медея всегда глядела на него глазами Иверии, а сама родная Иверия ласкала его лучезарным взглядом любимой. Грузия, причастившаяся Революции и сохранившая красоту и грацию, душевность и самоотверженность своих женщин, чистоту и неиспорченность своих малых детишек, артистическую гибкость, но и неспигаемое благородство своих мужчин, — вот что было, есть и будет путеводной и навсегда счастливой звездой нашего юбиляра. Слава ему и спасибо.

Предлагая читателям подборку стихов Иосифа Нонешвили, «Литературная Грузия» присоединяет свой голос к волнующему хору многочисленных друзей и почитателей поэта, поздравляющих его с шестидесятилетием со всех концов нашей страны.

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

ОСЕНЬ В ТБИЛИСИ

Осень раннюю заметишь
На проспекте Руставели:
Ветер листья, листья липы
Взвевт, под ноги расстелит.

Налетит он из Кахети,
Он нагонит листьев кучи,
Разольет и по Тбилиси
Аромат плодов летучий.

Гражданин шаги замедлит,
Сладкий жар его охватит,
Скажет он: не вся ли суша
Дышит винной благодатью?

И раздумчиво он вступит
В двери ближнего базара —
Щедрой осени грузинской
Золотой принять подарок!

Водружая на прилавки
Все, что осень уродила,
Труд свой труженики славят,
Славят солнечную силу.

Принесла обилье осень,
Принесла богатства ворох.
Будь же весел, рад и весел,
Наш родной Тбилиси-город!

Море вин и фруктов глыбы,
Молчаливый хор плодовый,
На ветру платан взметенный,
Птице сказочной подсебный.

Продавщицы над лотками —
Словно звезды урожая:
Коль одна смугла, как солнце, —
Как луна, бела другая.

Слева — пламя апельсинов,
Справа — яблочные горы.
Бурдюки в хмелю поникли,
У столбов иша опоры.



Цепь чурчхел, айвы пахучей
Золотистое мерцанье.
Турачи висят — охотник
Их убил над Алазанью.

«Коль вино мое — не чудо,—
Будь навек я опозорен!» —
Тонкий дух лозы атенской
Хвалит винодел из Гори.

Продавец из Имерети
Зазовет тебя беседой:
«Покупать не принуждаю,—
Ты, батано, лишь отведай!..»

А другой кричит: «Кровь дэва!
Я рубин хранил в подвале!..»
О, какое ж здесь плохое?
Каждый здесь свое расхвалит!

Принесла обилье осень,
Принесла богатства ворох.
Будь же весел, рад и весел,
Наш родной Тбилиси-город!

Осень... С улицы на площадь
Листья сыплются, взлетая, —
Словно с шелестом спустилась
Золотая птичья стая.

Солнце, ветер... Неумный
Ветер осени тбилисской.
Женский говор голубиный —
Под резьбой балконов низких.

Ветер... Зиму он торопит?
Иль весну обратно кличет?
Но какой же это ветер?
Это — говор, смех девичий.

Ветер лалы и кораллы
Мчит, спеша перемешать их...
Но какой же это ветер?
Это — легкий шелест платьев.

Солнце смотрит из-за тучи —
На ограде небосклона.
Это — ветер? Нет, не ветер:
Это — песня двух влюбленных!

Принесла обилье осень,
Принесла богатства ворсх.
Будь же весел, рад и весел,
Наш родной Тбилиси-город!

Перевод Александра КОЧЕТКОВА

Снова меня
 обуяла тоска
 По улетающим дням
 сизокрылым,
 И снова,
 оттрепетав у виска,
 Горечь сладчайшая
 в сердце
 вонзилась.

Вижу,
 опять
 дуновенье беды
 Сердца встревоженного
 коснулось,
 Юность моя,
 заметая следы,
 В зарослях скрылась
 пугливой косулей.

И все-таки
 мне ли не угадать:
 Исполненные
 любви и доверья,
 Свет посылают
 сыну Иверии
 Очи твои, как небес благодать.

И расцветают цветы у Куры,
 Подснежники и фиалки
 ликуют,
 И возвещает мне
 гам детворы
 Над óползнем лет
 победу лихую.

Солнце весеннее!
 Вспыхни и ты,
 И одари меня
 милостью вешней —
 Голубизной
 неземной чистоты,
 Ясностью тою,
 исконной и вечной!

Ветром колеблемому тростнику
 Выдели
 сноп синева животворной,



Чтобы развеять печаль и тоску
 Неутоленной мечты
 непритворной!

Ибо нахлынула снова тоска
 По улетающим дням
 сизокрылым,
 И снова,
 оттрепетав у виска,
 Горечь сладчайшая
 в сердце
 вонзилась...

Перевод Георгия МЕРГВЕЛАШВИЛИ

НЕ ИЩИТЕ МОГИЛУ РУСТАВЕЛИ

Сине море! Душа его — ветер,
 белый парус да черная гибель.
 Если этим поэт обессмертен,
 не ищи Руставели могилу.

Кто он? Вечно молящийся инок,
 воин, вражью повергнувший силу?..
 Мудрость вымысла черная в книгах,
 не ищи Руставели могилу.

Месх безвестный иль житель Герети?..
 Медом речи грузинской поила
 жизнь поэта... И что тебе в смерти?
 Не ищи Руставели могилу.

Что тебе этой горести мета?
 Скольких саваном небо укрыло.
 Если дорого имя поэта, —
 не ищи Руставели могилу.

Слово — славный его виноградарь
 и всевышний в трудах не покинул.
 Благодарность вкусивших — награда.
 Не ищи Руставели могилу.

Там, у светлой его колыбели,
 там, у смертной, — так исстари было —
 дань предания о Руставели.
 Не ищите Поэта могилу.

Перевод Владимира ТЕРЕЛАДЗЕ

ДРУЗЬЯМ-ПОЭТАМ



Везде свершений зримые приметы,
Наш столичный град, как никогда, красив —
К вам обращаю я, друзья-поэты,
Души и сердца пламенный призыв:

Народа кровь от крови, плоть от плоти,
Родной Тбилиси мы восславим вновь —
В его высоком солнечном полете
Народа неизбывная любовь,

Он дарит людям гладь своих проспектов,
И с каждым маем умножать готов
Фонтанов плеск и трепетанье спектров,
Благоуханье песен и цветов.

Он чист, как ветра легкое касанье,
Он свеж, как тень чинары на заре,
Он вечен, словно древнее сказанье
О раненом фазане и царе...

А в небесах — сияние сапфира,
А на земле — симфония труда,
И все прекрасней гордый город мира,
С народом породненный навсегда!

К вам обращаюсь я, друзья-поэты,
И эта просьба сердца горяча:
Восславим город, песнями согретый,
Бессмертный город чаши и меча —

Пусть вдохновенья пламенная лира
Сумеет всем многоголосьем струн
Воспеть достойно древний город мира,
Который так непобедимо юн!

КАК МОСКВА-РЕКА И МТКВАРИ...

Любовь и братство — всех начал начало,
Они над миром высятся, как Ушба.
И колыбель мою любовь качала,
И крылья строф мне подарила дружба.

Союз сердец высокий, неустанный
Слил воедино братские народы,
И горы, как седые великаны,
Снимают шапки пред певцом свободы...

Мы не забыли: серые шинели
В час горьких испытаний мы надели,
Но Пушкина стихи в сердцах звенели,
И звали в бой шаири Руставели!



Не раз, не два смотрел в глаза я смерти,
Но помешал ей до меня добраться
Мой русский друг. Попробуйте, измерьте
Бессмертный подвиг боевого братства!

Нам силы зла восставшего грозили —
Все испытанья мы преодолели,
И защищали Пушкина грузины,
И русские спасали Руставели...

Певцы любви и дружбы рядом с нами
Шли по земле пылающей с боями,
И красное простреленное знамя
Как светоч жизни реяло над нами!

Великих славлю и о них вещаю —
О тех, кто вечно жив в народном сердце,
Я им благоговейно посвящаю
Святое вдохновенное усердье.

Они на пьедестале бронзовели,
Но к свету и сейчас зовут, как звали,
Грузинский Пушкин, русский Руставели,
Живые, как Москва-река и Мтквари!

Перевод Глана ОНАНЯНА

Г О С Т Ъ

Р о м а н

Слово может выразить лишь то, что находится на поверхности, но то, что погружено в глубины человеческой души, остается нераскрытым навечно. Чувство, вызванное воспоминанием о прошлом, невозможно передать во всей полноте с помощью слов. И наши мысли, мелькающие с быстротой молнии, крутящиеся и сменяющие друг друга, невозможно выразить исчерпывающе, так же как невозможно передать то воздействие, которое природа оказывает на человека, любовь, печаль, страх, муку, ожидание и множество иных чувств. Наслаждаясь или ужасаясь, мы пытаемся передать свое состояние словами, но разве о том мы говорим, что переживаем на самом деле! Сколько своеобразных, тонких нюансов остается за пределами слов.

Слово не в силах объять всего, что вмещает в себя жизнь. А то, что мы успеваем схватить, осилить, — настолько незначительно по сравнению с тем, что остается в сокровенных недрах души невысказанным, необъяснимым, непередаваемым, неприкосновенным! Хотя и сказано, что вначале было слово, однако совершенно ясно — слово не охватывает жизни, оно только часть ее, и мы в состоянии воссоздать в словах лишь частичный, можно сказать, односторонний образ действительности, который есть только модель настоящей жизни. Более или менее явственно, до определенного предела зримая сторона нашего бытия еще как-то поддается выражению с помощью слов, но не та, глубоко скрытая, которая, возможно, и является главной. Движение души, необычайное состояние ее в определенный миг, заключенное в круг слов, — что оно по сравнению с тем, о чем в действительности хотелось сказать! Тут мы бессильны. Наиболее важное и значительное поневоле остается в нас, мы едва приподнимаем завесу только над нашей душой, над осознанной нами самими сферой духа, но даже то, что мы знаем о себе, не является абсолютной истиной. У каж-

Печатается с сокращениями.

дого творца невысказанным остается гораздо больше, нежели удалось сказать, а если некоторые из них благодаря своей гениальности смогли вторгнуться в сферы души, окутанные тайной, и пролить свет на многие до сей поры не известные явления, это вовсе не означает, что еще больше не осталось всего равно невысказанным. По мнению одного индийского мудреца, все происходящее в нас, куда глубже, нежели переданное словами. Ни музыка, ни краски не в силах целиком охватить и выявить суть человеческой души.

Слово бессильно передать то, что испытывает человек, когда с Мтацминды смотрит на Тбилиси. Словно на ладони лежит перед ним знакомое пространство, и в этом пространстве город раскрывает свое сердце. Как близок каждый дом, как тесно сплотились красные кровли, островерхие купола! Переплетенные друг с другом узкие улочки и сквозные широкие проспекты создают удивительную гармонию. Неповторимой самобытностью дышит каждый район. Сверкает на солнце Кура, стиснутая гранитными стенами. Вон и вокзал, где сейчас на путях стоят поезда, скоро они умчатся, увозя в чужие края аромат этого города. Отсюда не видно людей, они будто исчезли. В сознание врезался лишь город, как картина, как единое творение, нечто духовно неделимое, и тебе вдруг представляется, что ты вознесен на невиданную высоту, откуда только величайшее допустимо взору. Мелькает и исчезает все расчлененное, обособленное, хрупкое, включая и самого человека, и ты вдруг чувствуешь — город превратился в одно существо и воспринимается как живой организм, одолеваемый грандиозными страстями. Каждый район и каждое здание имеют свою душу, и эти неведомые, неуловимые души, слившись в одну и являющие свое единство лишь отсюда, влекут невероятно — будь ты приезжим или коренным тбилисцем. Тебя завораживает та неожиданная таинственность, которую ты не ощущал, пока не посмотрел на Тбилиси с Мтацминды; захватывает и влечет в свои недра прошлое города и его настоящее, постигнутое с исключительной ясностью, ибо если ты уроженец Тбилиси, его дитя, то твоя собственная история начинается с основания этого города и предопределена его судьбой.

Вот ты стоишь и сверху глядишь на Тбилиси. Сколько лет ты отсутствовал, но за это время не изменилась душа города. Конечно, построено множество новых домов, появилось много новых районов, многие старинные здания и мосты снесены или реставрированы, переделаны, но ты чувствуешь — город не изменился, потому что внешние перемены не могут изменить душу так, чтобы нельзя было узнать того вечного, единственного и неповторимого, что незримо витает вне этих зданий и стен. Там, на улицах и в домах людская масса непрерывно видоизменяется: одни навсегда покидают этот город, другие только что прибывают сюда, но этот круговорот не меняет ничего, потому что все, кто в данную минуту находятся здесь, живут духом этого города, невольно становясь его ча-

стицей, составным элементом его, хотя, возможно, и сами этого не осознают.

Смотришь на безграничные просторы, открывающиеся с высоты. Вдали, в лазурной синеве кавказского неба вырисовывается вершина Казбека, непорочно белая и чистая. Прямо перед тобой высится гора Махата, правее — грустный Тобори и Шавнабада — отрог Триалетского хребта. Слева кольщутся в мареве волнистые хребты Внутренней Картли. Самолеты пролетают над городом. Смотришь на все это и чувствуешь, ты — частица этого города — внезапно отделился от него, обособился, глядишь ему прямо в глаза и держишься с ним на равных. Высота, на которую ты поднялся, наделила тебя таким правом. На время ты избавлен и от рабочих оков этого города, и от внутренней легкости, которая в первые минуты — когда ты взглянул с этой высоты на необозримые просторы — овладела тобой, но взамен что-то тяжкое и глубокое, словно мудрость, поглотило тебя. Поэтому и открылось сейчас перед тобой истинное лицо города, ты ощутил его суть, и тебе уже не хочется возвращаться назад, вниз, где — ты это понимаешь — снова растворишься в толпе, цельный — превратишься в частицу, а сам город, этот любимый город, от которого ты давно сбежал, но к которому прикован навечно, на чьей почве возрос саженцем, тоже потеряет свою целостность, распадется на многолюдные улицы и площади, по которым трудно ходить, раздробится на здания всевозможных красок и стилей, обернется зелеными скверами, просторными набережными, оданными непрерывному шумному потоку машин, концертными залами и театрами, освещенными прелестью тбилисских красавиц, стадионами, оглушенными воплями болельщиков, пропахшими ладаном церквями, переполненным транспортом, станциями метро, большими магазинами, ресторанами, пестрыми говорливыми базарами, жаркими серными банями и тихими скорбными кладбищами.

Поэтому ты завидуешь тем, кто обрел покой на склонах Мтацминды, кто вечным сном почил здесь.

Медленно спускаешься вниз по тропинке. Сколько лет не был ты в этом городе, но сразу узнал его, едва взглянул на него сверху. Нашел почти таким же, каким оставил, обрывистые склоны так же покрыты цветущим миндалем и сиренью. Чем ниже сходишь ты, тем сильнее шум города, и растут, увеличиваются предметы... Ты видишь — по подъему Бараташвили тащатся в гору красные трамваи, слышишь гул автомобилей. Где-то далеко, у Арсенала, всползает на пригорок поезд, и до Мтацминды докатывается гудок электропровода и перестук колес. Ты уже различаешь людей, идущих по улице, и твое отношение к ним меняется так же, как меняется перед тобой город — ристалище человеческих страстей и судеб. Из открытого, беззвучно скользящего вагончика фуникулера любопытные пассажиры поглядывают на тебя, бредущего пешком, и улыбаются, а ты медленно сходишь вниз, чтобы слиться с городом и снова стать его частью.

Рассвет едва наступил. В комнате, где я лежал, окна, выходящие на улицу, и балконная дверь были открыты. До меня доносилось шарканье дворничьей метлы. По какой-то из близлежащих улиц проехала поливальная машина. Я слышал стук шагов раннего прохожего, куда-то явно спешившего. Под балконом громко переговаривались и звякали пустыми банками цавкисские мацонцики¹, мешая досыпать, вероятно, не одному мне. Лучи восходящего где-то далеко за городом солнца окрашивали верхние стекла окон в рубиновый цвет. В комнате было прохладно, но стоял какой-то странный, характерный для городских квартир тяжелый запах мебели, и я, привыкший за долгие годы к свежему воздуху, теперь ощущал его особенно остро. Давно не ночевал я тут. В квартире никого не было. Двоюродный брат вручил мне вчера ключи и укатил в командировку. Я лежал, и одиночество было мне приятно. Собственно, к одиночеству я привык давно. Вся жизнь я был одинок, родителей своих я не помнил. Сначала рос у деда, потом у тетки. Бедняжка не отличалась отзывчивостью, она так и не стала моим другом. Наши отношения не выходили за рамки той чисто инстинктивной, неосознанной любви, которая зиждется на кровном родстве и которой человек наделен от природы. Все это, разумеется, имело свои причины. Я уже сказал, что родителей своих не помню и воспитывался у деда. В то время тетя находилась в Сибири. Она была молодая, очень красивая женщина. Вернувшись, она вышла замуж, но детей у нее не было. Много позже я узнал, что она перенесла какую-то болезнь, сделавшую ее бесплодной. Наверное, поэтому она и усыновила меня. В то время я уже учился в школе. Мне было все равно с кем жить — с дедом или с теткой. Но я не смог привыкнуть к новой семье, ибо знал, что я сирота, подкидыш, тоскующий по материнской ласке. И муж тети не пришелся мне по душе. Ощущение сиротства не покидало меня, и в отроческие годы я болезненно переживал свое одиночество. Но те годы давно прошли, и кроме того, что я свыкся с этим обстоятельством, в некоторые периоды оно даже даровало мне определенную свободу, что следует признать скорее благом, нежели бедой. «Семейные узы и чувство долга часто сковывают человека», — говаривал Важа, один из моих друзей. У него была необычайно внимательная, заботливая и нежная мать, и, боясь огорчить ее, Важа тяжело переживал каждый свой проступок, в такие-то минуты я и слышал от него эти слова. Странный человек был Важа. Сейчас, вспоминая о нем, я совершенно спокоен, но на первых порах, особенно в первые дни после его гибели, стоило кому-то упомянуть о нем, как я становился сам не свой.

...Полная свобода тоже нехороша. От нее человек черствеет. Он непременно должен быть связан любовью к другим, чувством долга, чтобы сохранить человеческий облик. Любовь, обращенная лишь на себя, в счет не идет. Ты должен отдавать сам, не ожидая даров. Только бескорыстие облагораживает. Ничего подобного я не испытывал в прошлом, чувство долга бы-

¹ Цавкиси — деревня возле Тбилиси.

ло незнакомо мне, и, вероятно, поэтому, несмотря на некоторую внутреннюю свободу, я страдал от одиночества. Когда ты ответствен только перед самим собой, ты безнадежно одинок и твоя свобода не стоит и ломаного гроша. Эту истину я особенно отчетливо ощутил в студенческие годы, в один из ненастных ноябрьских вечеров. Тогда я увлекался альпинизмом. Голодный и измученный возвращался я с гор. Всю дорогу, пока добирались на открытой машине до Тбилиси, я подгонял время, предвкушая, как явлюсь домой, переоденусь во все чистое, согреюсь и отдохну. Войдя в подъезд и мысленно уже отдыхая в теплой комнате, взбежал я по лестнице и наткнулся на запертую дверь. Соседи сказали, что тетя отправилась к подруге на день рождения и забыла оставить ключи. Мне стало горько до слез, оттого что я мчался сюда со всех ног, тогда как никто меня не ждал. Уезжая, помнится, я обещал вернуться через неделю, и именно сегодня исполнилась неделя, но тетя забыла об этом, хотя помнила о чужом дне рождения, потому что там ее ждали развлечения и удовольствие, а дожидаться моего возвращения было, безусловно, не столь приятно. Такая забывчивость не была для меня неожиданной, но в тот вечер почему-то мне стало особенно больно. Я ощутил себя круглым сиротой, ненужным никому на свете, и позавидовал тем, кто может твердо надеяться на близких. Конечно, я мог переждать у соседей, скоротать время за разговорами, но я валился с ног от усталости, мне хотелось отдохнуть, и, что самое главное, я весь день так ждал этой минуты, сладкой минуты возвращения домой, что сторяча бросил рюкзак у соседей и в той грязной робе, которую так мечтал, наконец, скинуть, вышел на улицу, голодный, измотанный, без копейки денег. В тот год рано похолодало, осень выдалась морозной, по ночам лужи подергивались льдом. До двух ночи слонялся я по улицам, чувствуя себя в родном городе неприютным и чужим. Родной город только тогда по-настоящему родной, когда у тебя есть дом, собственное гнездо, пристанище, в противном случае он такой же чужой, как та женщина, которую ты любишь, но которая не любит тебя. Я не знаю, что тогда расстроило меня, теткина ли, честно говоря, вполне простительная невнимательность или тщетность моего ожидания, моих надежд. Возможно, и то, и другое. Но в ту ночь, бродя по улицам, я не задумывался над этим. Я видел прохожих, у каждого из которых — как представлялось мне — были цель и дела. Возле театров и кино толпился праздный люд, денежный, жизнерадостный народ проводил время в ресторанах и столовых, кафе и подвальчиках. Торопясь домой или в гости, подбегали горожане к автобусам и троллейбусам. Бог знает, что было на сердце у каждого, какие заботы тревожили окружающих, но мне казалось, что во всем городе не сыщешь ни одного такого обездоленного, как я. Да, законченным эгоистом был я в те годы, никого на свете не любил больше собственной персоны, ни о ком не заботился, а когда человек не печется ни о ком, кроме самого себя, любое затруднение представляется ему непомерно тяжким.

Я слонялся до двух ночи. Видел, как пустеют улицы. Наконец жизнь на них замерла. Бодрствовали только дежурные

милиционеры да сторожа подле магазинов. Холод прохватывал меня до костей, глаза слипались от усталости. Медленно пошел я к дому. В наших окнах — темнота. Ждут ли меня? Конечно, нет, иначе бы не потушили свет. Я повернул обратно. Бродячая собака обогнала меня и скрылась в темном тупике. Где-то заливался милицейский свисток. Тускло светились витрины. Я пересек пустынную площадь и направился в Чугурети¹, там на одной из глухих улочек жил мой приятель Бежан Джабадари. В трехэтажном допотопном, построенном еще дедом Бежана доме у моего приятеля была комнатка на третьем этаже с балконом на улице. Он жил один, и к нему смело можно было заявиться даже в этот поздний час. Я шел вдоль трамвайной линии, посреди улицы, остановился на мосту, оперся о перила и уставился на воду. Свет фонарей, переливаясь, отражался в запруженной реке.

Свидетельница многих-многих лет,
О чем, Кура, бормочешь без ответа?²—

почему-то вспомнилось мне и вдруг почудилось, будто кто-то нашептал мне эти слова, будто донеслись юни из темного и глухого сада, который прежде звался Мадатовым островом.

Неподвижно стоял я, внимая тишине спящего города. Дома по безлюдным сейчас берегам смахивали в темноте на неживые и воспринимались как немые свидетели многих веков, так же как и безмолвная, мерцающая Кура. Сколько людей спускались к ее берегам, чтобы развеять мрачные мысли, приходили с настоящей бедой? И внезапно я устыдился своего детского каприза и обидчивости. О чем горевать мне, ведь многим приходилось и хуже моего! В конце концов, чем плохо мое положение? Ведь я мог вернуться домой хоть сно минутой. Мог, разумеется, но в то же время и не мог, потому что это представлялось мне малодушием, уступкой, хотя я и тогда понимал, что другого выхода у меня нет. У меня не достало ни силы, ни решимости оставить дом, учебу и начать новую жизнь. Все это было бессмысленным детским бунтом, обреченным с самого начала. Вернувшись домой, я бы выспался, отдохнул, встал позже, принял душ, позавтракал, и нынешний каприз или обида улетучились бы сами собой, но какой смысл возвращаться, когда никто не ждет тебя? Тогда в моих глазах это больше походило на насильственное вторжение. Поэтому я не вернулся и ночевал у Бежана Джабадари.

Кое-как уснул я одетым на раскладушке, возле окна, укрывшись старым пальто Бежана. Всю ночь я слышал, как тоскливо шелестят на ветру бессильные ветви росшей под окном старой высокой акации. Всю ночь безутешно жаловались на улице деревья, а утром, когда я проснулся, вернее, очнулся от неприятной полудремы, все тело ныло и ломало кости. Бежан уже ушел на службу. В комнатке царил страшный беспорядок.

¹ Чугурети — район Тбилиси.

² Из стихотворения Н. Бараташвили «Раздумья на берегу Куры» (перевод Б. Пастернака).

На стене я увидел портрет родителей Бежана. Они спокойно, без всякого сочувствия или недовольства взирали на беспорядочный быт своего отпрыска. В то далекое время, когда они сидели перед фотографом, им и в голову не приходило, что их сын будет жить так безалаберно, тишечной заботы и внимания. Если бы они могли это предвидеть, то, возможно, не спешили бы умирать или во всяком случае потеряли бы охоту фотографироваться!

Я не мог притронуться к огрызкам хлеба и колбасы, валившимся на столе. Я запер дверь, спрятал ключ в условленном месте и вышел на улицу. До полудня я бродил бесцельно. Заходил в книжные магазины и рассматривал книги. Подолгу простаивал у афиш и был так словоохотлив и любезен со знакомыми, которые попадались мне, что никто не догадывался о моем дурном настроении... В полдень я зашел к своему другу Вахтангу, попросил у него немного денег и спальный мешок. На вопрос, зачем он мне, беспечно ответил, что стоворился с друзьями об экскурсии в Зедазени. Вахтангу в ту же минуту загорелось поехать с нами, но я дал понять, что его присутствие будет для моей компании нежелательным. Я знал, что мои слова обидят такого самолюбивого человека, каким был Вахтанг, хотя он ни в коем случае не подаст виду. Так оно и случилось. Он молча вынес спальный мешок, вручил мне деньги и уже не только не интересовался моей поездкой, но и вообще не проронил об этом ни слова. Мать Вахтанга накормила нас обедом, мы выпили по бутылке превосходного кахетинского, и, уходя из этого дома, я пребывал в странном настроении. Мне захотелось уехать куда глаза глядят, покинуть этот город, найти тихое, укромное местечко, где никто не потревожит меня, лечь на траву и слушать легкий шорох листьев в лесу, пение птиц и дыхание ветерка. «Чем тащить этот мешок к Бежану, махну-ка куда-нибудь», — решил я и отправился на вокзал. Подоспел я как раз вовремя. На первом пути стояла боржомская электричка. Я поднялся в пустой вагон, бросил мешок в тамбур и расположился на нем. Соседний путь занимал длинный, зеленый состав, а из-за вокзальной стены доносились шум города и звонки трамваев. До тех пор пока поезд не тронулся, я наблюдал в открытую дверь за толпой на перроне, за продавщицей пирожков в белом халате, за пассажирами, которые мимо меня проходили в пустой вагон, вскидывали на железные сетки багаж и рассаживались. День был ветренный, и, наверное, поэтому все глядели мрачно. Поезд медленно тронулся, прополз под Нахаловским мостом, и знакомые места побежали перед глазами; я видел железнодорожные склады с бесчисленными контейнерами, ящиками, строительным материалом — железом, досками, цементом и кирпичом... В Дидубе поезд ненадолго остановился. Высокие тополя на Дигомском полегнулись от сильного ветра... Когда электричка снова двинулась, я стал смотреть на холмы за Курой, пятнистые, словно шкура жирафа. Лениво текла река, почти такого же цвета, как земля, деревья и рассыпавшиеся по склонам лачуги. Цвета ящерицы было и само пространство, но постепенно темная синева сгущалась и заволакивала окрестность. В

Мдхета уже тускло мигали фонари. Когда поезд остановился и я вышел из вагона, было почти темно. За железной дорогой поднимались высокие, лесистые холмы. Пустым перроном прощелся я до ларька, купил сигарет, распечатал пачку и с наслаждением затянулся. Я не услышал, как отошел поезд, так бесшумно и незаметно он скрылся. Вой ветра заглушал все звуки. Наверное, именно ветер разогнал всех, вокруг не было ни души. Мне приятно было стоять на этой пустынной платформе, все казалось задумчивым и затаявшимся. На рельсы опустилась мгла. Я мог отправиться, куда захочу, и внезапно ощутил полную свободу и полное одиночество.

В тот миг я чувствовал ответственность только перед самим собой, и мне казалось, что ничто на свете меня не волнует. Я вскинул на плечи спальный мешок и зашагал по шпалам. Пыльные, пустые товарные вагоны стояли на боковой ветке. Я миновал их и в темноте пошел по главному пути. Я ступал по шпалам и прислушивался невольно к царившей вокруг тишине. Ветер стих, рассудок мой сразу прояснился, хотя хмель еще не выветрился. Некоторое время спустя я прошел мимо пустой землянки, вырытой в склоне; где-то вдалеке брехали собаки. Я быстро миновал это место и вскоре остался один на один с ночью, только поблескивающие рельсы напоминали мне о существовании людей. Неожиданно мелькнула мысль — умри я сейчас, случись со мной что-нибудь, исчезни я, потеряйся, кто узнает о моей смерти, о моем исчезновении? Наверно, никто. Должно быть, очень скоро все обо мне забудут. Кто знает меня? Что я совершил такого, чтобы люди заметили мое исчезновение и опечалились? Так кто же я, неужто совершеннейшее ничтожество, которое не оставит по себе даже памяти?

Странная грусть охватила меня, но я грустил не о себе, мне было жаль людей вообще, которые, трезво понимая, что рано или поздно исчезнет даже память о них, все равно яростно цепляются за жизнь... Потом я набрел на тропинку, ведущую к лесу, вошел в темную лощину и начал подниматься по склону. Когда я одолел изрядный подъем, внизу по рельсам с грохотом пронесся пассажирский поезд, и, оглянувшись на этот грохот, я увидел, как мелькают во тьме освещенные окна вагонов. Я увидел людей за окнами, хотя не мог разглядеть их лиц. На удивительный миг ворвались они в поле моего зрения и тут же пропали. Потом грохот оборвался, наступила тишина. Вот так же стремительно промелькнет и наша жизнь перед взором Кого-то огромного и непознаваемого — и исчезнет навечно, не повторится более никогда, как тот миг, когда я с тропинки видел пассажиров. А те приедут в большой город, рассеются по улицам, разойдутся в разные стороны, каждый — в соответствии со своим местом и назначением. Растворятся в толпе, смешаются с другими людьми, прибывшими в этот город еще раньше, и все они — конкретно своеобразные, самобытные — превратятся в единую массу, которая зовется населением города. Путешествие закончено, и все вернулись на свои места.

Я продолжил свой путь. Тропинка поднималась все выше. Пахло лесом и сырой землей. Я вошел в темный тоннель, об-

разованный спутанными в вышине ветвями деревьев, ступая по мошпистым, осклизлым кочкам. Где-то сочилась вода. В чаще кричал сын. Я вышел из ущелья на безлесный склон и обрадовался открывшемуся простору. Ветер утомился, было тепло, окрестности замерли в лунном свете. По темному небу мыльными пузырями скользили белые облака. Я дивился все-тому этому, существующему вне человека, девственному, независимому от человеческой воли. Мне хорошо было одному, но странное предчувствие подсказывало, что это одиночество было мне нужно не само по себе, а для какой-то неясной пока еще цели. Как будто в уголке души какая-то часть моего существа настойчиво хотела понять мои чувства, ощущения, страсти, мое одиночество.

На спуске я заметил на тропке следы скота и снова ощутил близость человека. Где скот, там и человек, чей незримый дух — я чувствовал это — не покидал меня даже в минуты одиночества. Тропинка снова поползла в гору, и я шел по ней, опустив голову, пока не остановился на повороте и не присел на землю отдохнуть. Я еще не устал, но и спешить было некуда. Достал сигарету и закурил. Внизу темнел густой черный лес. Облака вышивали по небу причудливые узоры. Я почувствовал — кто-то стоит за спиной и настойчиво на меня смотрит. Я так явственно ощущал этот взгляд, что быстро оглянулся, но никого не было. В неприятном напряжении я продолжал курить. Лица умерших всплывали из тумана сознания. Я видел родителей Бежана, которые, словно сойдя с фотографии, стояли передо мной недвижно и безмолвно. Я видел лицо моего любимого дяди Арчила, который сейчас не казался мне родным и близким, как раньше, всегда готовым меня защитить, но выглядел чужим, холодным и опасным, и мне хотелось оттолкнуть его. Я видел лес, сверху глядел на высокие макушки деревьев прибрежной рощи, но бесплотные образы не исчезали, они хороводили передо мной на фоне леса. И снова ощутил я чей-то настойчивый взгляд за спиной. Я почти знал, что кто-то стоит совсем близко, как призрак, белеющий во тьме, сложив на груди руки, недвижимый, холодный, и следит за мной, подстерегает. Я не выдержал и обернулся еще раз. Никого. Но мне показалось, будто что-то белое и впрямь мелькнуло во мраке среди деревьев и скрылось.

Я встал, двинулся дальше и вскоре набрал на развалины церкви, раскатал спальный мешок, набрал хворосту и решил развести костер. Изрядно намучившись, я разжег огонь, но с первым его пламенем все вокруг погрузилось в непроглядный мрак, и мне показалось, что из темноты доносится чье-то дыхание, что за мной опять следит кто-то, притаившийся в развалинах. Я никак не мог успокоиться, напряженное ожидание не оставляло меня, и я пожалел, что пришел сюда. Несколько раз я громко кашлянул, и мне послышалось, будто кто-то передразнил меня. Сидя у костра, заключенный в круг света, я ощущал себя отличной мишенью. Наконец, чтобы стряхнуть наваждение, я встал и спустился к роднику. Ровное привычное журчание несколько успокоило меня, я напился холодной воды и вернулся вверх. Огонь освещал вход в колокольную, осталь-

ное терялось во тьме. Я не знал причины своей неожиданной тревоги. Это выяснилось лишь на следующий день.

Заснул я с трудом, и всю ночь мне мерещилось, будто кто-то крадется ко мне. Я просыпался, вертелся, несколько раз приподнимался, вглядываясь в темноту, потом ложился и старался уснуть. Так между сном и явлю кое-как дотянул до утра. И вот, когда я окончательно проснулся, открыл глаза, я увидел в мутной рассветной дымке косматого, низкорослого, совершенно голого человека, который стоял в двух шагах от меня, опираясь на палку, и молча на меня смотрел. Я вздрогнул, от страха лишившись дара речи, и прежде чем что-то предпринять, приподнялся в спальном мешке.

Внезапно не по сезону экипированный незнакомец повернулся, бесшумно, как зверь, кинулся прочь и пропал за деревьями. Меня прошиб холодный пот, каждый нерв мелко дрожал, и я никак не мог сообразить, что же все это значит. Столкнулся ли я с действительностью или оказался во власти невероятной галлюцинации? Я мигом скатал спальный мешок, подхватил его и припустился вниз. «Нет сил справиться, лучше отступить», — мысленно оправдывался я, хотя мое бегство насколько не унижало меня. Небо постепенно бледнело, все вокруг выглядело донельзя обиденным — на склоне паслись коровы. Одна из них была белой. Я заметил трех мужчин, поднимающихся по тропинке, и решил подождать их. Сердце мое продолжало бурно колотиться, я даже тогда не мог успокоиться, когда убедился, что эта троица — реальные люди из плоти и крови. Меня оживляли их хмурые взгляды, я боялся стать свидетелем еще каких-нибудь чудес. Когда мужчины приблизились, я поздоровался с ними. Я назвал себя любителем старины и рассказал им о ночном происшествии. Мужчины оживились и стали расспрашивать, в какую именно сторону убежало голое привидение. Я показал. Тут они объяснили, что мне попался немой, слабоумный паствух, который несколько месяцев назад окончательно спятил, а позавчера сбежал из больницы и объявился здесь, в знакомых местах, где всю жизнь пас коров. Они шли ловить его.

— А людей он не трогает? — спросил я.

— Кто знает, что у дурака на уме? — ответили мне.

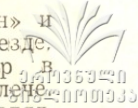
Я распрощался с этими достойными людьми и теперь уже уверенней пошел по тропинке, начиная понимать, что моя ночная тревога была результатом интуиции.

Я поднялся с кровати и приступил к зарядке. Спорт я любил с детства, и многое мне давалось легко. Одно время, уже на последнем курсе университета, я забросил тренировки и пристрастился к вину. Результат не замедлил сказаться — совсем еще молодой человек, я сделался вялым, начало пошаливать сердце, появилось чувство подавленности. Организм, приученный к определенному спортивному режиму, не выдержал его резкого нарушения и стал сдавать. Откровенно говоря, я никогда не был выдающимся спортсменом, но средние способности обычного любителя обнаруживал почти во всех ви-

дах спорта. Особенно увлек меня альпинизм! Нигде истинное лицо человека не проявляется столь ярко, как в альпинистской экспедиции. Всех своих друзей я изучил в горах. Единственный, кто не менялся, и в горах, и в долине оставался самим собой, был Важа. Остальные с увеличением высоты претерпевали удивительнейшие метаморфозы. Энергичный и талантливый в обычной жизни Каха в горах становился вялым, пассивным, терялся в трудных ситуациях, боялся взять на себя ответственность и сделать решающий шаг, словно уповая на случай, который сам все определит. Щедрый Парнаоз в горах проявлял чрезмерную любовь к собственной персоне и мелочность, старался занять в палатке местечко получше, урвать кусок побольше, обеспечить себя элементарным комфортом, возможным в подобной обстановке. Тактичный и воспитанный Вахтанг становился капризным, вспыльчивым, нетерпеливым. Лично я, каким сокровищем бывал в городе, таким же оказывался и в горах, видимо, поэтому и забросил альпинизм раньше всех своих друзей. Мне не доставало физической силы, упорства и иных качеств характера, необходимых истинному альпинисту. Я не мог жертвовать всей своей энергии этому увлечению, а иначе ничего путного не получалось. В любом деле я сторонник умеренности, именно умеренность считаю исходной точкой существования. Это я понимал еще в те годы, когда увлекался альпинизмом, но для усвоения мудрости нужны время и опыт, поэтому лишь за последние годы я окончательно уверовал, что для человека моего характера и душевного склада необходимо придерживаться только и только золотой середины. Вот почему там, в глухой деревушке, где я обитал несколько последних лет, я отказался от выпивки и настолько привык к утренней гимнастике, что она превратилась в каждодневную потребность; нормальная физическая нагрузка укрепила мое здоровье, и сейчас я чувствовал себя бодрей и энергичней, чем в те годы, когда я был моложе и вел довольно беспорядочную жизнь.

Окончив зарядку, я в трусах походил по комнате. На улице еще царил тишина, вероятно, потому, что день был воскресный. Косые лучи солнца мягким бархатом стлались по полу. Я оделся во все чистое и вышел из дому. От политого асфальта веяло прохладой. Перед гастрономом торговали молоком, и чуть свет поднявшиеся домохозяйки запасались провизией к завтраку. Я спускался из Сололаки к Ортачала¹ по пустынной улице Лермонтова. Из открытых окон какого-то дома доносились звуки радио — передавали утреннюю гимнастику. «Руки в стороны, глубокий вздох», — вещал диктор под аккомпанемент рояля. Напротив керосиновой лавки у магазина «Грузинский хлеб» топтались пожилые по-домашнему одетые женщины, глухо ропща, что магазин до сих пор не открывают. В подвале, где находилась хашная, все столики уже заняли любители острой чесночной похлебки. Я дошел до дома, в котором по преданию когда-то жил Лермонтов. Помню, как, вернувшись

¹ Ортачала, Сололаки — районы Тбилиси.




из России, тетьа подарила мне поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри». Она купила их где-то на Северном Кавказе, в поезде, по дороге домой. На обложке был изображен юный автор, в мундире русской армии, но в кавказской бурке на одном плече. Из-за этой бурки и небольших усиков Лермонтов представлялся мне грузином, хотя удивляла русская фамилия и то, что он писал по-русски. Подростки, я с увлечением читал эти поэмы, которые воспринимались мной, как грузинские, ибо в них действительно многое было чисто грузинским, взяты хотя бы одно заглавие «Мцыри»¹, а там еще упоминались мцхетский Джвари, Арагва и Кура; сами истории, легшие в основу поэм, самый дух, пронизывающий творчество Лермонтова, были знакомы мне задолго до того, как я прочел эти вещи, а когда я познакомился с ними, то воспринял их, как иллюстрацию грузинской действительности, и сразу понял и полюбил. В те годы я плохо знал русский язык, но незнание языка не мешало моему увлечению и привязанности. Лермонтов заставил меня полюбить Пушкина. С наслаждением читал я «Путешествие в Арзрум», особенно те места, где описывался старый Тифлис, Тифлис Александра Чавчавадзе, зятем которого был, как известно, русский поэт Грибоедов, Тифлис Лопиана, Григола Орбелиани, Николоза Бараташвили. Тогдашний Тбилиси, мой любимый город, стал невыносим без Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, так же как был он невыносим без Бараташвили, Орбелиани, Чавчавадзе и многих других. Тем более, что в детстве, да и потом тоже, меня часто останавливали на улице приезжие: «А где здесь могила Грибоедова?».

Я прошел Хлебную площадь. Медленно пробуждался, начинал шевелиться город. Вот здесь, где сейчас гудят машины, во время оно находился Шуа базари — Срединный базар. Пустой троллейбус въезжает на подъем. Перед синагогой, как обычно, толпятся рано поднявшиеся евреи. Внезапно мне открывается Метехи. На фоне красноватого неба величественно всплывает каменный храм. Скалы, река и вся округа окрашены коричневато-зеленоватым цветом, точно таким же, каким с высоты осеняет их Метехи. Я пересек улицу и вышел к мосту. Полюбовался переливающейся гладью Куры, потом городом, разбросанным по холмам. Вот Рике, Чугурети, Авлабар, Элиа²... Слева — Мтацминда и Сололаки... Причудливые дома, балконы, черепичные кровли. Оконные стекла сверкают на утреннем солнце. Яркая пестрота и сияние. Ясное небо, кроткое и голубое, ни одному художнику не по силам передать тот дух, которым веет от всего вокруг, которым дышит гористое пространство... Мне вспомнились знаменитая Голубая мечеть с огромным лазурным куполом, некогда стоявшая на этом месте, галдящая площадь — Шайтан-базар...

Я был совсем маленьким, когда дядя Арчил привел меня однажды к мечети и позволил заглянуть внутрь через узкую дверь. В мечети стояла полутьма, пол устилали красивые ковры, и мне почему-то было очень страшно переступить по-

¹ «Мцыри» (груз.) — иннок, послушник.

² Рике, Чугурети и т. д. — районы Тбилиси.



рог... Помню узкий мост через Куру, на котором всегда толпился народ. К нише с мощами святого Або подходили молящиеся в черных одеждах, прилепляли свечи к стене и истово молились. Дядя Арчил рассказывал, до революции в Метехи была тюрьма, где царское правительство расстреливало борцов за свободу. Я не понимал тогда, что такое расстрел, но по сей день помню кошмар, снившийся мне после нашей прогулки, — на парнишку, значительно старше меня, набросились какие-то усатые люди в белых хителях и сапогах, втащили его в огромный зал с широкими окнами и высоченным потолком, полный народу, — зал этот чем-то походил на зал в здании банка — открыли дверь комнатушки, узкой, как лифт, и втолкнули в нее свою жертву. И вдруг снизу, как змеи, выползли длинные, блестящие стальные стрелы и пронзили парнишку насквозь. До сих пор не могу забыть я выражение лица героя моего детского сна, совершенно спокойное и отрешенное.

Я стоял на мосту, глядя по сторонам. Вон на том месте был караван-сарай, сюда подходили караваны верблюдов с заморскими товарами. Где-то здесь шнырял и зашибал копейку Соломон Исакич Меджгануашвили¹. Я не застал того времени, но дух его все же отметил меня, и страсти многострадального Соломона Исакича, может быть, составляли какую-то частицу моих страстей, незаметно для меня самого... Сколько раз кутил я, бывало, в ресторане на первом этаже караван-сарая, выходившего на Куру! Когда же я был там в последний раз? Да, перед самым отъездом из Тбилиси, мы славно посидели в этом ресторане с Шалвой Дидимаишвили! Шалва — единственный сын известного музыканта и общественного деятеля конца прошлого и начала нынешнего века — когда-то и сам слыл выдающимся музыкантом. Еще до моего рождения он дирижировал симфоническим оркестром, но когда мы познакомились, он давно сошел с круга, и невозможно было поверить, что этот законченный алкоголик некогда интересовался чем-то, кроме выпивки. И все равно было заметно, что он получил блестящее образование и обладал исключительно острым умом. Больше всего меня занимал вопрос, отчего спился этот талантливый и образованный человек. Как-то в доме одного моего приятеля меня познакомили с сестрой Шалвы, тоже музыкантшей, скрипачкой, если не ошибаюсь. Я сказал ей, что дружу с ее братом. «Что же подельывает мой бывший брат?» — спросила меня эта пожилая дама... Большое удовольствие доставляло мне общение с Шалвой. Он был прекрасным собеседником. Никогда не кланчил на выпивку, как большинство пропойц. Когда у него бывали деньги, непременно расплачивался за всех, но деньги, к сожалению, водились у него крайне редко.

Неподалеку, на мосту стояли торговцы живой рыбой. Один из них, тучный, одноногий, на костылях, говорил второму, худому и тщедушному, в приплюснутом картузе, столь любимом тбилисскими кинто:

— Было время, когда я овцами промышлял...

¹ Соломон Исакич Меджгануашвили — герой одноименного романа грузинского писателя Л. Ардзаниани.



Дальнейшего я не слышал, потому что повернулся и пошел к серным баням.

Серные бани для меня были блаженством несказанным! Меня влекло не столько купание, сколько возможность подышать ароматом старого Тбилиси, который уже уходил в небытие, постепенно выветривался, но здесь еще сохранялся. Сегодняшний Тбилиси мне в тысячу раз дорожке прежнего, но ведь прошлое обладает особым обаянием. Терцики и гардеробщики, хорошо знали меня и всегда старались оказать особое внимание. Солько раз, бывало, после мытья мы выпивали вместе. Моего приятеля-терцика по прозвищу Красавчик Гогия, особенно поражало, что я, образованный человек, так лихо пью. А я никак не мог понять, за что прозвали Красавчиком этого приземистого, пузатого, рыжеволосого усача. Растянувшись на лавке, я любил слушать о его похождениях. Красавчик тер меня шерстяной рукавицей и рассказывал, как в бытность свою шофером ездил по дорогам Болнисси и Дманиси, как однажды по пьяному делу попал в аварию, за что и угодил в тюрьму. Оттуда его отконвоировали в колонию. Там он влюбился в восемнадцатилетнюю девушку, жившую неподалеку от зоны. Влюбился, да кто отдаст дочь за арестанта?! К тому же, добавлял Гогия, девушка была из хорошей семьи, однако, и она любила его и дала согласие связать с ним свою жизнь. На беду, Красавчика Гогию перевели в другую колонию вместе с его закадычным корешом, болнисским татаринном. Если верить Гогии, татарин был крепким малым, верным и преданным другом. Когда того освободили, Гогия поручил ему отвезти возлюбленной письмо, в котором сообщал, что скоро выйдет на свободу, пусть она только ждет. В один прекрасный день татарин заявился в колонию, свиделся с нашим героем и объявил: «Твоя девушка вышла замуж». В отчаянии Гогия схватил табурет, собираясь проломить голову плохому вестнику, но татарин сгрел его и расцеловал: «Она похищена, Гоги-джан, тебя ждет!». Через полгода Красавчик отбыл свой срок, сыграл свадьбу, а потом устроился в баню терциком — садиться за руль ему запретили, а другого ремесла он не знал...

Помню сороковины по отцу Гогии. Красавчик в знак особого уважения пригласил меня на поминки на Петропавловское кладбище....

Стояла ранняя весна. Яркая зелень одела цветущие на кладбище деревья. Густые облака затянули небо, солнце не проглядывало, но все равно было тепло и беспрерывно щебетали, ворковали невидимые среди ветвей птицы. С незнакомым чувством разглядывал я утопающие в зелени надгробья и читал эпитафии. На одном — только два слова: «Сказка кончилась», на другом — «Прохожий, помни: я дома, ты в гостях». Сколько судеб погребено под этими камнями, сколько трагедий, сколько боли! Сколько ожиданий и надежд оборвалось здесь! У могилы отца Гогии толпился мастеровой люд: друзья, близкие, соседи, знакомые. Грустно тянули мелодию дудукисты Глахо Захарова. Рыдали дудуки, вдохновенно пел тонким голосом Глахо:

Ласточка весной щебечет,
Потому что солнце светит.
Если не люблю я друга,
Для чего мне жить на свете?..



Какой-то странный сплин овладевал мной. Я смотрел, как на краю небосвода сливались облака и белые вершины гор, на темно-синюю — такой она бывает только ранней весной — даль, и мне казалось, будто я навечно прощаюсь с чем-то необычайно дорогим. Что было этим необычайно дорогим, я не знал, но, возможно, им был сегодняшний день, на диво мирный, грустный, неповторимый. Сквозь стенания дудуки доносились до меня обрывки негромкой, степенной беседы:

— Харпухский борец Дуб-Кола, тот, которого отравили, погребен на этом кладбище. Мне в ту пору лет десять набежало. Как сейчас помню, крохотным было это кладбище, а нынче, гляди, как разрослось.

— Здесь и поэт похоронен, Терентий Гранэли¹...

— Говорят, и Никала² тут покоится, — переговаривались двое.

А двое других:

— ...шулаверский Баграт, оказывается, сказал: Глахо — соловей Грузии...

— Что ты, молодой, знаешь? Кто такой Глахо? В мое время знаменитые дудудисты жили на Рике... Однажды там пировал Вано Сараджкишвили³, и Зубиашвили сказал ему: «Хорошо еще, Вано-джан, что ты не занялся нашим ремеслом, а то бы всех клиентов у нас отбил». Соловьем Грузии был Вано...

...Баня только что открылась. Посетителей было немного. Я прошел в общее отделение. Незнакомый гардеробщик, совсем еще молодой человек, встретил меня.

— А где Иосиф и Датико? — заинтересовался я.

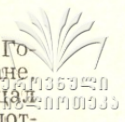
— Во вторую смену работают.

Не было ни Красавчика Гогни, ни телетского Вано, которого несколько лет назад мучил ишиас, и врачи запрещали ему работать в бане. Из знакомых терциков промелькнул только чокнутый Степа. Смешной человек был Степа, он все время хвастался, что служил офицером в армии, заведовал магазином, не глядите, говорит, что я терцик, было время... Я редко мылся у Степы, хотя у него была одна хорошая привычка — окончив мыть, он непременно встречал вас в дверях мыльной и окатывал двумя ведрами теплой воды, что было весьма и весьма приятно. Степа то ли узнал меня, то ли нет. Улыбнулся бессмысленно. Я залез в бассейн. Вода была горяча. Полежав немного, я вышел и растянулся на лавке. Надо мной, в центре круглого, сводчатого потолка, сквозь узкое, похожее на дымоход, оконце голубело утреннее небо. А вечерами, когда горячий пар заполнял тесноватое помещение, не

¹ Т. Гранэли — грузинский поэт (1898 — 1934).

² Имеется в виду Нико Пиросманишвили (1862 — 1918).

³ В. Сараджкишвили (1879—1924) — знаменитый грузинский оперный певец.



только неба, лица рядом стоящего человека не разобрать. Голые фигуры походили на призраки, скользящие в тумане словно в чистилище или ином подобном месте. Тускло мерцал электрический свет, слышался глухой гул и плеск воды, потные банщики сбивались с ног, сознание мутилось, в душе что-то таяло, расплывалось, причудливые образы и обрывки мыслей без всякой связи всплывали на поверхность сознания.

Зимой обычно я посещал баню по вечерам. Любил поплескаться в горячей воде, попариться, когда на улице дождь, холод, мрак. В бане я думал о всякой всячине. Мысленно представлял себе выжженные солнцем окрестности Болнисы и Дманиси, мусульманские кладбища, с первого взгляда похожие на россыпи белых камней посреди степи; вспоминались холмы, сплошь покрытые отарами, татарские овчарки и запах овец. Овечий запах напоминал о вкусной еде — о шипящих на углях шашлыках, о зелени, о холодном вине, о маленьких белых духанах у дороги, в которых всегда царит особая тишина и уют. Я жалел, что никогда не был пастухом, не заворачивался в пахучий тулуп, не проводил ночи под открытым небом, не сиживал у костра в окружении верных овчарок...

Иногда мне представлялись пастухи в лохматых папахах и черноглазые татарки в широких пестрых платьях. Странное вожделение будили во мне эти женщины иного племени, мне хотелось уединиться с одной из них, снять с нее шаль, похожую на чадру, и провести с нею ночь в какой-нибудь тесной и грязной землянке посреди этой скудной, похожей на пустыню, степи. Может показаться смешным, но я подчас завидовал Красавчику Гоги, который до аварии на своей машине объездил эти районы вдоль и поперек, временами мне хотелось оказаться на его месте.

Часто я думал о восхождениях, о горах. Как отрадно, вернувшись из похода, когда ты усталый, разбитый, обросший щетиной, нежиться в горячей воде, которая из каждого сустава, каждого мускула вытягивает усталость, ломоту и боль; вылезаешь из воды легкий и беззаботный, словно вторично родившись на свет. Банный пар напоминает горный туман в непогоду, только этот не обдаёт тебя ледяными иглами, а обволакивает теплом и ласкает.

Но после гибели моего лучшего друга Важа меня иногда коробил вид голых людей, неподвижно лежащих на лавках. Они напоминали мне трупы в морге.

Когда мы привезли тело Важи в Тбилиси и внесли его в больничный морг, я впервые увидел такое скопление голых покойников. И тела, вытянувшиеся на полках, почему-то напомнили мне о бане. Кто знает, может быть, кого-то из этих людей я видел лежащим на лавке в мыльной и даже задевал их, проходя мимо?..


Лежать наскучило, и я снова спрыгнул в бассейн с горячей водой. Стал смотреть на весело балагурящих в ожидании клиентов терциков, на тощего старика, который стоя под душем напротив, старательно мыл голову.

...С Важа мы подружились в горах. Когда человек близок тебе, ты уже не помнишь, когда познакомился с ним и полюбил

его. Тебе кажется, будто ты всегда знал и любил его. Было время, когда я не представлял себе жизни без Важа, но человек мирится со всем, хотя бы внешне. Важа был обаятельный, стойкий, непоколебимый, прямой, с безграничной, почти фаталистской верой в себя. В нем было много донкихотства, что часто раздражало окружающих. Иногда ему изменяло чувство меры, он переставал считаться с реальностью, что казалось удивительным для такого разумного и одаренного парня, и в такие минуты он, не задумываясь, неудержимо отдавался собственным страстям и прихотям. Кто знает, может быть, это пренебрежение действительностью, вместе со множеством других обстоятельств, и явилось одной из причин его гибели, неким перстом судьбы, недаром говорят: то, что невозможно согнуть, ломается. Лично я — сторонник золотой середины, и в последние годы уже не понимаю тех людей, которые играют с судьбой, бросают ей вызов, соперничают с неведомой силой, направляющей жизнь, о чьей сущности и природе мы слишком мало знаем, и которая действует независимо от наших желаний и воли. Что говорить, подобная дерзость и отвага на первый взгляд весьма привлекательны — как прекрасное проявление человеческого достоинства и независимости, но назвать такое поведение благородным никак нельзя. Лично я уже не способен, как когда-то Важа, отдаваться безудержному веселью. Жизнь преподала мне много уроков и развеяла множество иллюзий. А вот когда мой друг входил в азарт, можно было подумать, что вулкан извергает из своих недр весь запас веселья; Важа словно забывал — а в подобные моменты, очевидно, так оно и было, — что радость в любую минуту может обернуться печалью. Такова была его натура, и кто может сказать, почему он был именно таким?

Столь же глубоко захватывала его скорбь, если, конечно, это была истинная скорбь, а не надуманная, мимолетная хандра. Внешне он оставался прежним, держался так, будто ничего не случилось, расправив плечи, вольно, словно арабский иноходец; гордое и энергичное выражение не сходило с его лица. Но стоило присмотреться повнимательней, в его теплых, светлокарих глазах сквозила затаенная тоска и боль, лукавые искры уже не вспыхивали в них. Он вырос в семье, где невероятным позором для мужчины считалось обнаружить слабость. Помню, когда похоронили его мать, мы вдвоем возвращались с Кукийского кладбища по узким, петляющим улочкам. Перед нами амфитеатром раскрывался город. Четко вырисовывалась гора Удзо, Цхенти и застроенные домами склоны Мтацминды, небо было натянуто над городом, как голубой нежнейший шелк, и думалось: какое отношение имеет смерть ко всему этому? За всю дорогу мы не проронили ни слова. А потом, когда подошли к дому Важа, когда снова смешались с народом, мой друг повел себя как ни в чем не бывало, смеялся, если кто-то отпускал шутку, сам шутил, не подчеркивал свою скорбь, не выставлял ее; он молча переживал безмерное горе, терзавшее его — мать была для него всем на свете...

Впрочем, я видел Важа и иным. Например, в те дни, когда убили нашего друга Цотне, красивого, благороднейшего парня.



Его гибель потрясла меня. Неужели можно умереть в таком возрасте? — наивно поражался я. Зато Важа держался так, будто ничего не произошло. Во время панихид он стоял во дворе, в том самом, где провел вместе с Цотне столько прекрасных дней, и с иронией, близкой к презрению, поглядывал на тех парней, которые не скрывали своей скорби, словно не веря им. Его нарочитое спокойствие, возможно, было своеобразной реакцией на всеобщие охи и ахи. Когда мы с Важа оказывались с глазу на глаз, я почему-то не решался заговорить о Цотне, стыдясь слов, словно слезливого нитья. Отмалчивался и Важа, не упоминал даже имени Цотне, а накануне похорон заставил меня хохотать над какой-то безделицей. Я чувствовал, что его показная беспечность была фальшью, слабостью, детским легкомыслием. Видимо, Важа хотелось показать всем, какая он сильная личность.

Мы заходились от смеха, хотя лично мне было не до веселья, тоска камнем лежала на сердце. Все это лишний раз подтверждало нашу мальчишескую беспомощность, ибо душевно стойкие люди не обманывают себя, не маскируются, но прямо в глаза смотрят несчастью и испытаниям.

Помню, как в комнату вошла мать Вахтанга и возмутилась, увидев нас в таком состоянии:

— Не стыдно вам? У вас друг умер, а вы хохочете!

— А чем ему поможет наше молчанье? — вызывающе бросил Важа.

Зато весь следующий день он не выходил из комнаты, где покоился Цотне. Молча сидел в углу. Мне это тоже показалось лишним — вчера ни разу не заглянул сюда, сегодня не выходит...

Помню полнейшую кладбищенскую тишину. Пронизывающий, ноябрьский ветер, не утихая ни на минуту, гнал пыль, сгибал пополам молодую елочку, одиноко росшую на соседней могиле. У края вырытой могилы стоял гроб Цотне. Он был единственным сыном... Мы не могли поднять глаз на застывших от горя безутешных родителей.

Была абсолютная тишина. Родные и друзья молча подошли к Цотне и прощались, целуя его в лоб. Вот подошел Важа, склонился, поцеловал мертвого друга, выпрямился и вдруг, закрыв лицо руками, взвыл в голос. Тот, от кого меньше всего можно было ожидать этого, рыдал, как беспомощный ребенок, и глядя на него, многие не могли удержать слез...

...Необычайно одаренный от природы, Важа был первым среди сверстников и в учебе, и в работе, и в спорте, обладал сверхъестественным чутьем, которое, к сожалению, редко обманывало его, но помогала ли ему эта безошибочная интуиция в реальной жизни, сказать не берусь, потому что он ясно чувствовал приближение смерти и не смог ничего сделать.

В первый раз, когда Важа завел разговор о смерти, я подумал, что ему хочется поразить меня и позабавиться. Это случилось за год до его гибели. Помню, стояла весна, я в то время жил в Окроканах. Важа очень нравилось там, и он иногда оставался у меня...

В полночь последний, тустой вагончик фуникулера поднял нас на Мтацминду. Моросил дождь, холодало, даль заворождо туманом, мокрый асфальт поблескивал в неясном свете редких фонарей. Пустынно и безлюдно было кругом. Когда мы свернули на тропинку, ведущую в Окроканы, стало совсем темно. Далеко внизу, в ночном сумраке, затихал город. Стояла тишина, и только откуда-то издалека доносился собачий лай.

— Жить мне осталось не больше пяти лет,—сказал Важа. — Когда мне исполнится тридцать, я либо умру, либо застрелюсь, либо сопьюсь. Я предчувствую, что за тем пределом у меня не хватит ни энергии, ни жизненных сил. Поэтому до тридцати я должен успеть все, успеть выложиться целиком, чтобы мое имя осталось. Потом уже или сил не хватит или что-нибудь приключится. Я это ясно предчувствую...

Голос его звучал как-то особенно печально. Никогда не видел я его в таком настроении, и все-таки мне не верилось, что он искренен даже в эту минуту. «Челуху горюдит от нечего делать»,—подумал я. Мне трудно было, представить, как может молодой, полный жизни человек ограничивать свое существование столь малым сроком. Все вокруг было объято сном и тишиной, на проселочной дороге нас облаяли собаки. Словно тени, долго плутали мы во тьме, насилу разыскав свой дом. Утром, когда мы проснулись, дождь все еще лил. Мы лежали и, помнится, о многом переговорили друг с другом. Потом пешком отправились в Тбилиси. Стоял конец апреля. Воздух был прохладен и чист. Из травы высовывали головки мака и ромашки. В сторону Коджора плыл молочный туман, он стлался по горам, словно посиневшим от холода. Мы зашли в пантеон. На длинной скамье у могилы Бараташвили сидели две старушки и распевали псалмы. Если не ошибаюсь, была пасаха. Потом я забыл этот день и не вспомнил слова Важа, его тогдашнее настроение, пока год спустя Каха не рассказал мне, что перед тем, как отправиться в горы, Важа и с ним заводил тот же странный разговор.

— Я чувствую, что скоро умру, — говорил он ему, — и очень боюсь смерти, но не хочу, чтобы случилось иначе, потому что тогда выходит, будто у меня нет чутья, интуиции, и все, что я чувствовал, думал и делал, было ошибкой...

Через два месяца Важа и в самом деле погиб в горах. Собираясь в экспедицию, он был весел, как обычно, и, пожалуй, беспечен, но выказывал странную заботу о близких, словно предчувствуя, что уже не вернется к ним. На всякий случай он предупреждал друзей, как поступить, если с ним что-то случится. Знай он определенно, что погибнет, он бы, разумеется, отказался от восхождения, но интуиции невозможно довериться именно потому, что она ни на что конкретное, за что можно ухватиться — ни на знания, ни на опыт — не опирается, и мы находимся в полном неведении — оправдается наше предчувствие или нет. Ведь очень часто не случается то, чего мы ждали, что нам казалось неизбежным без всякой причины, на основании самим нам неясной внутренней убежденности.

— Правда, интуиция иногда открывает нам глаза на такие явления, которые — если рассуждать логически — никак не

возможно предугадать, но чаще всего она — дар напрасный, мы не в силах совладать с нею, она выскальзывает из рук, как та птичка, которую, мнилось, мы уже заманили в силки и поймали. Счастливы те люди, если они существуют, для которых предчувствие столь же ясно, как промелькнувшая в голове четко оформленная мысль.

Интуиция — такое странное знание, которое не зависит ни от каких причин и не поддается контролю, — думал я, выходя из бани. Я чувствовал себя великолепно — легкий, чистый. Пять лет не был я в серной бане и сейчас ощущал удивительный покой во всем теле — Степа превосходно справился со своим делом, и когда, завернувшись в простыню, я отдыхался в лавке в предбаннике, перед моими глазами снова возник Важа. Вот у кого действительно были все предпосылки, чтобы стать выдающимся деятелем, только жизни для этого ему было отпущено недостаточно. Зачем же природа щедро наделила его блестящими способностями и прочими достоинствами, если не собиралась доводить начатое до конца? Зачем возводила фундамент строения, которое намеревалась разрушить так скоро? Эти вопросы, как и прочие наивные суждения такого рода, не выходили за рамки элементарной логики, но так как жизнь неоднократно убеждает нас, что, если не подавляющее большинство явлений, то, во всяком случае, значительная их часть развивается вовсе не по тем абсолютным законам, которые мы знаем и к которым приспособились, то удовлетворительного ответа на свои вопросы я не нашел.

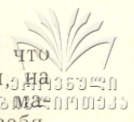
Едва я вышел на улицу, как внимание мое переключилось на проснувшийся город и мысли мои смешались. Окончательно рассвело, и вставало настоящее тбилиское утро. Перед баней, в только что политом скверике сидели старики, занятые нехитрым развлечением, они мирно беседовали, перебирая четки. Я пока не решил, куда идти. Это был мой второй день в родном городе после пятилетней разлуки. Медленно двигался я по улице. Горожане покупали свежие газеты в киоске. На дверях книжного магазина висел замок, зато гастроном уже работал. Рабочие в синих халатах катили по тротуару порожние пивные бочки и втаскивали их в кузов грузовика. На стене дома рядом с гастрономом висела афиша, приглашавшая на концерт курдского ансамбля песни и пляски. Руководительница ансамбля Сусик Смо была весьма пышнотелой особой. Афишу украшал только ее портрет. Фамилия одного из артистов выделялась жирным шрифтом — Шалико Сиабандов¹. Я расхохотался, прочитав эту странную фамилию. Уходя от афиши, я старался представить себе внешность Шалико Сиабандова, потому что проникся искренней симпатией к этому неизвестному мне артисту. Выйдя к бывшей Татарской площади, я все еще был в прекрасном расположении духа и продолжал посмеи-

¹ «Сиабанди» (груз. жарг.) — притворство, симуляция.

ваться. Время близилось к девяти. Город ожил. В троллейбу-сах заметно прибавилось пассажиров, и машины катили почти непрерывным потоком. Мне бросилась в глаза милостивая де-вушка, сидящая за рулем автомобиля. Это несколько удивило меня, отвыкшего от городской жизни. На миг мне представи-лось, что все здесь исключительно интересно и весело проводят время, чего мне, увы, уже не видать, но тут же я сообразил, что будничная жизнь во многом отлична от того первого впе-чатления, которое производит на нас новая обстановка. Я вспом-нил, что когда-то прекрасно знал внутренний ритм Тбилиси, однако сейчас некоторые вещи воспринимал так, будто впер-вые попал в этот город, а у той девушки, возможно, в самом деле очень интересная жизнь, но приходит к такому выводу, основываясь только на том, что она сидит за рулем собствен-ного автомобиля, разумеется, очень глупо. В свое время я по-видел множество мужчин и женщин, не знавших недостатка ни в машинах, ни во многом другом, но жить, как они, даже со всем недоступным для меня комфортом, я бы сейчас не же-лал, хотя, наверно, не отказался бы от этого раньше, когда мне казалось, что я явился в этот мир срывать плоды наслаж-дений. Но тогда я был другим человеком. Теперь я уже не тот. Я давно потерял интерес к вещам. Я долго жил на лоне при-роды, а там человек по-иному воспринимает бытие. Вечерней порой ты выходишь за околицу и спешишь к уединенному го-лому холму. Здесь старое сельское кладбище. Печальное оди-нокое дерево оле глядит на выщербленные ветром могильные камни. Присядешь на такой камень, поглядишь на лесистые го-ры, на желтеющие по склонам хлебные нивы, посреди которых возвышаются столетние сосны, а солнце тем временем медленно клонится к западу. Закатный свет озаряет ущелье, и ты видишь пространство, словно подернутое дымкой, и в этой загадочной безмолвной неподвижности ощущаешь вечность вселенной, и суетность благ земных становится ясной для те-бя. Неожиданно ты обретаешь стремление к умеренности, к сдержанности, как в преуспеянии, так и в неудачах, как в ра-дости, так и в горе; тебя уже не прельщает богатство, хотя ты прекрасно сознаешь пороки бедности. Все это исчезает из твоих желаний, и тебе хочется постигнуть одно — для чего ты кратким мигом явлен в сем вечном мире?..

Тем временем я поравнялся с аптекой. Мне вспомнился юноша, когда-то, это было давно, он выскочил из этой двери: я видел его меньше минуты, но запомнил на всю жизнь. Дер-жа в руках кислородную подушку, он, всхлипывая, куда-то бе-жал в холодную, зимнюю ночь. Наверное, здесь поблизости, в душной комнате одного из этих старых домов у него умирал кто-то близкий. Возможно, это была его мать...

Однажды морозным, зимним днем — мне тогда не было и десяти лет — возвращался я из школы. Свернув на свою улицу, я увидел толпу у ворот одного из домов. Подходя к во-ротам, я заглянул в низкое окно первого этажа. Посреди комна-ты лежала покойница — молодая женщина в белом платье. Проб-утопал в цветах. На стульях вдоль стены сидели женщи-ны в черном, а вокруг стола беззаботно бегала девочка лет че-



тырех-пяти с бантом в волосах. Я почему-то сразу понял, что умерла мать этой крошки, и сердце мое сжалось от боли, на глаза набежали слезы сострадания. Что станет с ней без матери? — подумал я, и внезапно мне стало жалко самого себя. Мне представилось, что эта женщина — моя мать, а девочка — моя младшая сестренка, которая не понимает ужаса происходящего. Я ощутил самым неподдельным образом смерть, хотя в данном случае она не коснулась меня. Я не помнил свою мать, но, вернувшись домой, плакал именно по ней. Скорее всего, я оплакивал собственное сиротство и понятие «мама», существующее во мне само по себе, независимо от кого-либо.

Я зашел в парикмахерскую.

...Чем дольше человек живет, тем реже он чему-то удивляется, никогда больше не бывает он таким непосредственным и искренним, каким был в детстве. Несмотря на это, с необъяснимым прозрением он заранее ощущает порой приближающуюся опасность или несчастье близкого человека...

Я взглянул в зеркало. Один из парикмахеров проворно встал и придвинул мне кресло. Из репродуктора лилась камерная музыка. Парикмахер усердно брил меня, а я думал о Мери. Любил я ее или нет? Конечно, по-своему любил, но не настолько, чтобы не мог жить без нее. Сейчас я вспомнил о ней потому, что в ту пору, когда мы встречались, я обычно думал о ней в парикмахерской, и постепенно это превратилось в своего рода условный рефлекс. После бритья каждый мужчина, если он не безнадежный урод, так или иначе хорошеет. Вот почему в те годы после бритья я старался встретиться с Мери и понравиться ей. Конечно, это происходило бессознательно, но было именно так. Тогда я брился всего два раза в неделю, и в такой день обязательно спешил к Мери. Мы познакомились, когда я учился на последнем курсе института, а Мери — двумя курсами ниже. Она приехала из Сухуми и снимала комнатушку на первом этаже старого дома по Кожгорской улице. Вечерами я, бывало, стучался к ней в окно. Отдвигалась занавеска, выглядывала Мери, улыбалась и тихонько отворяла дверь. Я на цыпочках крался общим коридором и оказывался у Мери. В комнате за стеной обитала чета старичков. Никогда, за исключением единственного раза, не видел я, чтобы они покинули свою обитель. Когда я поднимался по улице, первым меня встречало их окно, потом окно Мери. Оба окна были забраны снаружи одинаковыми железными решетками. По вечерам окно стариков горело теплым светом — посреди комнаты висел старинный красный абажур, и, если шторы не были опущены, я видел, как старички сидели за столом и пили чай. По-моему, они чаевничали с утра до ночи. Стол у них постоянно бывал накрыт, в любое время дня, видимо, убирать они ленились. На столе стоял блестящий никелированный чайник, чашки с блюдцами, тарелки, крохотные розетки, хлеб, масло и банки с вареньем. Остаток своих дней старички мирно проводили за чаепитием. Никогда я не слышал их голосов, никогда не встречал их в темноватом общем коридоре. Несмотря на это, Мери с опаской провожала меня в свою комнату. Ей не

хотелось, чтобы соседи узнали, что я прихожу к ней, а иногда остаюсь и на ночь..

...Ночь выдалась холодной. Немного подвыпив, я пришел к Мери. Мы лежали на тахте. В полночь она разбудила меня. В комнате было темно, но свет уличного фонаря за окном позволял различать предметы.

— Вставай, одевайся! — встревоженно затормошила меня Мери.

— Что случилось?

— Мама приехала!

Ее мать жила в Сухуми.

Создавалось глупейшее положение. В окно не вылезешь — снаружи решетка, в дверях мы наверняка столкнемся.

— Где она? — бессмысленно спросил я.

— Постучала в окно, позвала меня, сейчас, наверное, у двери дожидается.

С улицы долетел истошный кошачий визг, и снова все смолкло. Я растерянно присел на тахту. Мери накинула халаг, босиком, на цыпочках подбежала к окну, приподняла занавеску, взглядываясь в темноту. На улице никого не было. Мери отворила дверь и осторожно вышла в коридор. Я, как идиот, сидел на постели, не зная, что делать. Если Мери впустит мать, я все равно не успею одеться. Как прикажете беседовать с незнакомой женщиной, которая найдет меня голого в комнате своей дочери? Я снова лег, натянул на голову одеяло и замер в ожидании неприятных минут. Немного погодя, Мери тихонько проскользнула в комнату, скинула халаг и юркнула ко мне.

— Никого нет, мне померещилось, — облегченно вздохнула она.

На следующее утро мы вместе вышли из дому. Мери побежала на лекции, а я, еще не пришедший в себя после гибели Важа, целые дни проводил на улице. В полдень я стоял с приятелями на проспекте Руставели возле «Вод Лагидзе». К нам приблизилась незнакомая девушка, отозвала меня в сторону и спросила мое имя. Я с удовольствием последовал за ней, предвкушая нечто приятное. Вполне вероятно, что я кому-то нравлюсь, думал я, и сейчас произойдет знакомство. Мало ли на свете отважных девушек? Но когда незнакомка убедилась, что я именно тот, кто ей нужен, она сказала:

— Тархудж, бегите к Мери. Она утром получила телеграмму из Сухуми, умерла ее мать... Целый день ищу вас, на силу нашла...

Преувеличенно любезная улыбка разом сошла с моего лица. Я даже не заинтересовался, откуда знает меня эта девушка, занял у ребят денег на такси и помчался на Коджорскую. Девушка поехала со мной. Мери рыдала, калачиком свернувшись на тахте. Кроме матери, близких у нее не было. Брат жил где-то в России и годами не навещался. Мне стало искренне жаль Мери. Старички — любители чая — вышли из своей комнаты и тщетно пытались успокоить бедняжку. Увидев меня, она бросилась мне на шею и разрыдалась еще горше. Горе настолько потрясло ее, что она уже не стеснялась ни стариков, ни подруги, которая, вероятно, и без того догадывалась о на-



ших отношениях. Весь день я не отходил от Мери, вечером посадил ее в поезд, а несколько дней спустя, вернувшись в Тбилиси, она рассказала мне, что мать ее умерла именно в то время, когда она в полночь услышала ее зов...

В ту ночь Мери уловила некий сигнал, как однажды случилось со мной в лесу перед встречей с сумасшедшим пастухом. Животные тоже улавливают подобные сигналы, и, как утверждают сведущие люди, понимают их значение, особенно перед стихийными бедствиями. А мы, к сожалению, не понимаем. Мы смутно ощущаем что-то, но о том, что же нас ждет, не имеем представления. Однако, если мы обратимся к жизнеописанию людей древности, то увидим, какую огромную роль играли сны и прочие неведомые нам предзнаменования в их деятельности, решениях и даже судьбе, которую они якобы умели предсказывать с помощью этих предзнаменований. В наше время такая способность, если она в самом деле существовала когда-то, утеряна человеком, из-за чего он, несмотря на огромный технический и материальный прогресс, в некоторых обстоятельствах выглядит более слабым, нежели древние люди, более близкие к природе и естеству. Я не знаю, насколько верно все это, но смутное предчувствие Мери (или некий сигнал, расшифровать который никто не мог, конечно, если не считать это простым совпадением), сбылось, но ничего не изменилось: что должно было случиться — случилось.

Мне было приятно в парикмахерской. Я сидел в мягком кресле, вдыхал запах одеколона, радуясь горячему компрессу, щелканью ножниц, разговорам мастеров, даже старым газетам, журналам и домино, разложенным на маленьком столике в зале ожидания. В парикмахерскую ввалился чернявый детина, видимо, успевший в такую рань изрядно приложиться к бутылке. Не успел он войти, как прицепился к одному из мастеров. Мой мастер к этому времени уже закончил бритье и, перед тем как смазать мне кожу кремом и освежить одеколоном, вышел помыть руки. Я наклонился к зеркалу, внимательно рассматривая собственное лицо, и остался доволен тем, как был выбрит. Интересно, что сейчас подельвает Мери? В Тбилиси ли она? Может, замуж вышла? Я снова откинулся на спинку кресла. Мой мастер задерживался. В зеркале я увидел, что недавно вошедший клиент теперь привязался к нему. Они ругались то по-армянски, то по-грузински. Я повернул голову.

— Чего уставился? — зарычал на меня детина.

— Будет, Рудик, уймись! — урезонивал его мой парикмахер.

Я молча отвернулся. Мне совершенно не хотелось ввязываться в склоку. Но Рудик, видимо, счел мое молчание за трусость и нахально приблизился ко мне, отмахиваясь от парикмахера, который тянул его назад.

— Тебе чего надо? — гаркнул Рудик, встав надо мной.

— Ничего, любезный, будь здоров, — через силу улыбнулся я и, взглянув в зеркало, увидел, что в лице моем нет ни кровинки. Я весь напрягся от неприятного предчувствия. Было ясно, что нынешнее утро будет у меня отравлено. Сразу про-

пало то настроение, которое заставляло меня любить все в родном городе, где я не был столько лет. Рудик, видимо, совсем обнаглел от моего мирного тона.

— Поднимайся, выйдем, потолкуем!

— Иди отсюда, пока цел, неохота связываться!

— Вставай, чего дрейфишь! — Рудик хлопнул меня по плечу с такой злобой, будто я вызывал в нем непреодолимое отвращение, хотя он впервые видел меня, и я ничем не обижал его.

— Тебе говорят, встань! — заревел он, матерно выругавшись.

Тут и меня затрясло от ненависти и отвращения. Я ненавидел его, ненавидел его беспричинную злобу. Сорвав с груди простыню, я вскочил с кресла, разбросал в стороны суетившихся между нами парикмахеров и изо всей силы, со всей ненавистью размахнулся, ударил Рудика в лицо и свалил его на пол. И в тот же миг я почувствовал, как встрепенулся во мне затаившийся до поры кровожадный зверь, и, разом убив все благородное, человеческое, разумное, вырвался на свободу. И когда Рудик, пытаясь встать, поднял голову, я с величайшим наслаждением, с нетерпением, похожим на облегчение, так безжалостно ударил его ногой в лицо, что он без чувств растянулся на полу.

Взвинченный, вышел я из парикмахерской. Я настолько озверел, что, не повисни на мне парикмахеры, я бы убил Рудика. Я шел по улице, и меня преследовала колотить нервная дрожь. Я ничего не видел и не замечал вокруг. Город уже втянул меня в свой водоворот, лишний раз напомнив, что наряду с добром в нем существует и зло. Я миновал сад, где некогда собирались ортачальские игроки в кости, и свернул на Сионскую улицу. «Какой черт припер этого проклятого Рудика в парикмахерскую?» — продолжал я злиться, подходя к к Сионскому собору. «Вошел я в дом твой и преклонился пред святым храмом твоим», — прочел я надпись над входом. Заглянул внутрь, отстуда тянуло ладаном и прохладой. В сумеречной глубине мерцали лампы. Я спустился по ступеням и вошел в храм. Сколько лет не был я здесь? Последний раз я зашел сюда в пасхальную ночь, какие-то пьяные пустили тогда ракету, переполошив весь народ, собравшийся в храме, и чуть не сорвали службу. Сейчас здесь было тихо, сияли золоченые оклады икон. Я сразу успокоился, как будто целиком отделился от суматошного города. Я слышал, что в старину никто пальцем не смел тронуть преступника, если тот укрывался в храме. Поистине, в неповторимой простоте грузинских церквей есть что-то необычайно спокойное, величавое, бесконечно возвышающее надо всем мелочным и преходящим. Я сел на длинную скамью. Мимо меня прошелестела монахиня в широком черном одеянии и заговорила с пожилой монашкой, продающей свечи.

После мирного полумрака собора, раскаленная солнцем улица внезапной волной накатила на меня, закружила и повлекла в свой водоворот: я почувствовал, что снова слился с городом, снова стал неделимой его частью. То настроение, которое снизошло на меня в храме, развеялось сразу же, как только я очутился на улице, увидел дома, машины, прохожих. По всему было заметно, что сегодня воскресенье — прохожие выглядели спокойными и беззаботными, никто никуда не спешил, и по сравнению с буднями на улице было значительно тише. Я свернул направо. Во дворе Сиони дети гоняли мяч, в глубине двора на балконах хозяйки проветривали одеяла и постельное белье.

Я очень любил этот район с его запутанными, как лабиринт, улочками. Человеку нездешнему ничего не стоило тут заблудиться. Да что там нездешнему, я сам порой не знал, куда меня выведет тот или иной переулок. Я любил эти узкие улицы, тесные дворики, длинные балконы, винтовые лестницы. По этим камням бегал когда-то маленький Тато Бараташвили¹. Может быть, я так любил этот район еще и потому, что Бараташвили с детства был близок и дорог мне, близка его личная жизнь, его безответная любовь; а эти дивные, старинные дома, наверное, и при нем стояли здесь, на резных, деревянных, нависших над улицей балконах, таким же солнечным утром саживали княгини в чихти-копи², бог весть о чем беседа через улицу с соседями, устроившимися на балконе противоположного дома. Я шел и до меня как будто доносился грустный напев, сопровождаемый звуками кяманчи или тари:

Зачем коришь мужчину за неверность?³

Я словно слышал веселый смех юных князей в куладжах⁴, которые съехались к друзьям или близким провести время за картами, развлечься, обменяться новостями. Я слышал цоканье подков по булыжной мостовой, скрип несмазанных колес фаэтонов, и такое чувство овладевало мной, будто я ждал что вот-вот на моих глазах оживет старая картина, навсегда стертая безжалостным временем, и я наконец воочию увижу то, что прежде было открыто лишь внутреннему взору.

Несмотря на изрядную отдаленность, для меня вовсе не была чуждой жизнь молодежи эпохи Бараташвили, их взаимоотношения, любовь к женщинам, потому что и они были тбилисским юношами, хотя после них утекло много воды, многое исчезло или изменилось в корне. Я ощущал — что-то незримое и невыразимое осталось прежним, не изменилось, ибо на этом свете многое повторяется, многое претерпевает только внешние изменения. Я чуял аромат прошлого здесь, в этом старинном околотке, по узкой улочке которого я сейчас шел, и

¹ Тато — так звали близкие великого грузинского поэта Никола Бараташвили (1817—1845).

² Чихти-копи — старинный женский головной убор.

³ Из стихотворения Н. Бараташвили.

⁴ Куладжа — грузинская мужская верхняя одежда, отороченная мехом.

мне встречались нагруженные провизией женщины, возвращающиеся с крытого рынка; а на балконах, где некогда красовались знатные и надменные княгини, растрепанные домохозяйки стирали белье или готовили обед на газовых плитах, а дети слюмя голову носились по лестницам, шумели во двориках и на улице, из открытого окна на весь квартал громовыми раскатами обрушивалась джазовая мелодия. Но все же это был квартал Бараташвили, это место было ареной его душевных терзаний. Сейчас я видел парочку у дерева на краю тротуара — длинноногая девушка в коротком сарафане и широкоплечий юноша с челкой на лбу заговорщически шептались о чем-то, временами стараясь громким смехом скрыть смущение — и чувствовал — Бараташвили здесь, здесь витает его душа...

Каждому возрасту свойственны свои особые признаки. Было время и меня знобило от нетерпеливого волнения, когда я спешил на именины к какой-нибудь знакомой девушке, и волнение мое, наверно, было сродни тому, которое испытывали сверстники Бараташвили в салонах своих приятельниц. Таких салонов, как известно, тогда было немало. А именины, на которые знакомые девушки приглашали меня и моих друзей, представляли лишь разновидность тех старинных салонов. И здесь раздавался звон гитары, звучали песни и слышался звонкий, волнующий смех принаряженных девушек. И здесь кто-то кому-то нравился, и приятное возбуждение, которое всегда сопровождает подобные события, не покидало нас. Помню, с каким сердечным трепетом ожидали мы вечера, того мига, когда соберемся вместе и увидим ту, единственную, встречи с которой ждали с нетерпеливым волнением и казалось, что жизнь без нее не имеет смысла. И именины ничего не стоили, если ее не было там. Но если она приходила и улыбалась тебе, говорила что-то приятное и подающее надежду, разрешала проводить ее до дому — не чуя под собой ног ты возвращался по темным опустевшим улицам, и не было на свете человека счастливее, и это счастье заряжало тебя жизнерадостностью на многие дни вперед, преображало, делало смелее и веселее, чем ты был до сих пор. В такие минуты ты чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе. Но если тебя обходили взглядом, не было в мире человека несчастнее тебя, и отчаяние твое нельзя описать никакими словами. Как можно назвать подобное состояние? Наверно, все-таки любовью. Хотя, любовь слишком сложное чувство, чтобы его можно было выразить одним словом. Она не представляет из себя нечто цельное, но состоит из множества переживаний, объединяемых почему-то одним словом. Главное, что именно подразумевается под ним, под этим словом, за которым стоит множество эмоций, друг с другом несхожих. А юношеская любовь больше похожа на неизбежное сумасшествие, ставшее равнодушным законом, обязательным, как корь...

Мне вспомнился Сумбат — парень с нашей улицы, его нелепая любовь, если выходки и настроение Сумбата в тот период позволительно назвать любовью.

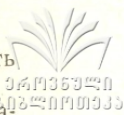
Я миновал квартал Анчисхати, продолжая размышлять обо всем этом.

По всей вероятности, в душе подростка сначала пробуждается чувство, и только после этого появляется предмет, на который оно должно быть направлено. Не предмет вызывает чувство, но существующее до него чувство выбирает объект твоего увлечения. Поэтому в ранней юности так часто меняются объекты, на которые направлено твое чувство, даруемое тебе природой, а вовсе не той женщиной, в которую как тебе кажется, ты влюблен. На самом же деле ты был влюблен и до ее появления. Первично состояние твоей души, а не личность, которая представляется тебе причиной этого состояния. Личности в любую минуту могут заменить одна другую, но сознание того, что ты должен непременно любить в определенный период — постоянно, неизменно и целно. Только случай или самовнушение направляют твое чувство к определенной женщине. Но это еще ничего не значит. То, что в какой-то момент мы выбрали одну женщину, только и только ее, и кроме нее, не желаем никакой другой, является чистой случайностью, самовнушением и больше ничем. В этом меня убедил собственный опыт или, вернее, Софико, которую я прекрасно знал и до памятного концерта...

А на тот концерт мы пошли вместе совершенно случайно. В один прекрасный день — тогда, я, кажется, уже учился в университете — ко мне забежал Вахтанг, принес билеты на концерт и предупредил, что с нами пойдет Софико. Эту девушку двумя-тремя годами младше меня я знал с детства. Ее родители и родители Вахтанга дружили домами, и я часто видел ее то у Вахтанга, то на улице, вежливо здоровался — и не больше. Она жила своей жизнью, которая меня несколько не интересовала, я — своей. Только и было, что однажды — в то время я заканчивал школу — после дневного сеанса в кино я увидел, что к Софико и ее подруге пристает какой-то парень, и, когда он изрядно надоел им, я вмешался и как следует поколотил нахала. Вот и все. Этим исчерпывались наши отношения. Разумеется, я ничего не имел против того, чтобы Софико пошла с нами на концерт.

И мы пошли. В фойе было полно народу, преимущественно молодежи. Опьяняющий аромат духов носился в воздухе, ослепительно сверкали люстры, звонко смеясь, горделиво прохаживались женщины, демонстрируя, как я заметил, свои наряды, словно сейчас оживался конкурс мод, а не концерт. Около нас останавливались знакомые, спрашивали о чем-то, вступали в разговоры. Некоторые заглядывались на Софико, и я вдруг заметил, что наша Софико уже не ребенок...

Вахтанг отстал от нас, поглощенный беседой. Софико взяла меня под руку, и мы вместе прошли в зал. И внезапно я почувствовал, что Софико превратилась в прелестную, изящную девушку, и подивился, как можно было до сих пор этого не замечать...



Все оборачивались, провожали нас взглядами, и неожиданная гордость переполнила меня, гордость от того, что эта красавица шла со мной под руку и в данную минуту принадлежала мне. Назойливые взгляды посторонних не раздражали, напротив, льстили моему самолюбию, я сиял от гордости, и до меня не сразу дошло, что радоваться, собственно, нечему. Кем была для меня Софико? — Никем. Как ни горько, но пришлось признать, что она вовсе не принадлежала мне, и самодовольство мое не имело никаких оснований. Это сознание омрачало мою радость, хотелось сию же минуту покорить Софико, не отпускать от себя, не уступать никому, чтобы упоение, только что испытанное мной и высоко возносящее меня в собственных глазах, не исчезало никогда, сохранялось подольше, приобрело почву и оправдание. Странное тепло согривало меня и, опускаясь в кресло рядом с Софико, я убедился, что она совершенно преобразилась в моих глазах, я был безумно влюблен.

С того вечера начались мои мучения. После концерта, едва мы проводили Софико до дому, Вахтанг открыл мне свое сердце. Он сказал, что любит Софико.

— Софико прекрасная девушка, — почему-то совершенно спокойно согласился я.

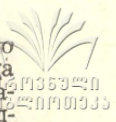
— Правда, она необычайная, ты чувствуешь это, Тархуж?!

— Чувствую.

— Знаешь, как я счастлив?!

— Поздравляю тебя, мне кажется, она тоже неравнодушна к тебе!

Спокойно внимал я восторженной исповеди моего друга. Потом он отправился домой, и я остался один. Мне было как-то не по себе, «Глупости! Я должен выбросить ее из головы!» — твердо решил я, но в ту же ночь убедился, что далеко не все зависело от моего чистосердечного желания, во всяком случае забыть эту девушку я не мог. Не мог забыть гордости и блаженства, которые испытывал в концертном зале, сидя рядом с Софико. Но любовь друга накладывала запрет на эту радость, а поскольку я был единственным, кто знал сердечную тайну Вахтанга, мне каждый день приходилось выслушивать его восторженные излияния, ободрять его, внушать ему надежду, и я всеми силами старался изгнать из сердца образ Софико. Но чем чаще я думал об этом, тем труднее становилось сопротивляться чувству и, встречая Софико, я бледнел, будто у меня заходило сердце. А в ту пору, по милости Вахтанга, я очень часто встречался с ней, она привыкла ко мне, и иногда мне казалось, что мое общество доставляет ей большее удовольствие, чем общество Вахтанга, но подобные мысли я пресекал тут же. Софико же не догадывалась ни о моей, ни о вахтанговой тайне. Она былавольна и свободна, так, по крайней мере, казалось мне. Мы часто гуляли вместе, я старался вовсю расхваливать своего друга, находил у него всевозможные превосходные качества, в которых судьба отказала мне, и когда Софико соглашалась, когда мне удавалось убедить ее, что Вахтанг во всех отношениях лучше меня, мне становилось не по



себе. И все-таки я был предателем, мне, видимо, на роду было написано стать невольным предателем. И именно тогда, когда я, наконец, твердо решил не встречаться с Софиго, она пригласила меня на день рождения. Разумеется, я не собирался идти, но Вахтанг зашел за мной и насильно потащил с собой. Начни я чересчур упираться, у него могли возникнуть подозрения, поэтому мне пришлось покориться. Уже не помню, что происходило на дне рождения. Помню только, что расходились мы весьма навеселе. Софиго прощалась с подругами на лестнице, обнимая и целуя их. Удивительно нежной выглядела она в этот миг со своими слегка прищуренными глазами. Подвыпивший и беспричинно веселый, спускался я, окруженный друзьями, по лестнице. И вдруг Софиго неожиданно окликнула меня:

— Тархудж, погоди!

Я остановился. Она пробежала несколько ступенек, обняла меня и поцеловала в щеку:

— Спасибо, что пришел!

Я вдруг почувствовал себя невероятно счастливым, я понял, что без памяти люблю Софиго, и с этим чувством ничего не поделаешь, не было человека счастливее меня. Умысленно отстал я от компании, мне хотелось побыть одному. Блаженной тишиной и темнотой встретил меня садик на Вере¹. Я растянулся на длинной скамье под старой чинарой, закинул руки за голову и уставился в небо. Мне казалось, что я нахожусь в дремучем лесу совершенно один, и одиночество радовало меня. Было холодно. Пар изо рта походил на табачный дым. Но я не курил. Я лежал молча, глядя на мерцающие в бесконечной вышине над городом звезды. «Спасибо, господи! — повторял я в душе. — Спасибо за то, что ты одарил меня любовью к Софиго!». Я не до конца понимал, за что благодарил бога, ведь ничего особенного не произошло. Но я ощущал безграничное счастье, и за него благодарил весь мир, который сейчас был таким дорогим и добрым ко мне. Я был счастлив не от того, что кто-то любил меня, но от того, что любил сам! Бродячая собака, прибежавшая откуда-то, обнюхавшая меня и усевшаяся неподалеку на землю, казалась мне родным существом. Подморазивало, но я распахнул ворот. Счастье не умещалось в груди, я будто намеревался преодолеть неведомую грань, будто робко стоял у врат чего-то непознаваемого, взволнованный неожиданным открытием и внутренне трепещущий.

На рассвете меня разбудил дворник.

В ту ночь я окончательно убедился, что люблю Софиго. Но почему я полюбил ее? Ведь раньше, на протяжении многих лет, я не обращал на нее ни малейшего внимания. Наверное, я полюбил ее потому, что, когда во мне внезапно пробудилось желание любви, милостью необъяснимого случая, Софиго оказалась рядом, и мое только что возникшее, пока еще внеобъектное чувство помимо моей воли устремилось к ней. Конечно, Софиго всегда нравилась мне, но сейчас я уверен, что повстречайся мне в тот момент и в той же ситуации другая девушка, я бы не влюбился в Софиго.

¹ Вере — речка в Тбилиси.

А любить ее было бессмысленно. Я не мог признаться ей в своей любви. В моем представлении она принадлежала другому; мне же оставалось только мучиться. Но я стойко сносил свои муки. Я все усерднее тщился выбросить Софику из сердца, но — напрасно... Никто больше не интересовал меня. Иногда я сознательно сближался с какой-нибудь доступной женщиной, чтобы снова вызывать в себе то отвращение, к которому меня приобщила когда-то та, первая, — ее звали Жанной, — и которое я затем перенес на всех женщин. Но наутро после такой ночи, я ненавидел самого себя, еще больше — свою недостойную подругу, и снова мечтал о Софику, которая рисовалась мне чуть ли не святой, так высоко возносил я ее. Я не мог представить, что можно целовать и обнимать ее, одурев от страсти. Да и страсти-то не было, всякая физическая близость казалась мне грязью, словно Софику была небесным, а не земным созданием. Однако, один бог ведает, не руководило ли мной такое же необоримое желание, которое некогда толкнуло меня к Жанне, только глубоко запрятанное, подавленное, нарочно завуалированное переплавленное и преображенное в недрах сознания.

Однажды...

Это случилось вскоре после гибели Важа.

...Была осень. Я сидел в ресторане и пил, любуясь вечерним, по-осеннему пестрым и грустным садом, багряными, желтыми и зелеными тонами. «Суета сует, все суета», — неотвязно вертелось в голове, и я неожиданно встал из-за стола. Друзья с удивлением воззрились на меня:

— Ты куда?

— Через час вернусь.

— Пойти с тобой? — предложил Вахтанг.

Насмешливо улыбнувшись, я наклонился и поцеловал его.

— За здоровье того предателя, который не заслуживает смерти! — как заправский гуляка провозгласил я, опорожнил стакан и пошел прочь.

Я уже не помню, как оказался у дома Софику. Хмель одолевал меня все больше. Я вытер пот с лица, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Послышалось шарканье шагов, дверь отворила домработница.

Софику была дома. Она лежала на диване и при свете бра читала книгу. В голубом платье с высоким глухим воротом она казалась легкой и воздушной, как весенний туман, подернувший на заре синие горы. Лицо ее выражало какое-то смутное оживление. В тонкой, еще неоформившейся фигуре, казалось, не было ничего женского, но все ее существо дышало женственностью.

— Тархудж? — с ласковой улыбкой приподнялась она и указала на стул рядом с диваном. — Ты пьян?

Она всегда встречала меня приветливо и ласково. Я сел на стул и долгим взглядом посмотрел ей в лицо. И снова, в который раз почувствовал, как поразительно дорога она мне. Дорога и близка, далека и недоступна. Я начал говорить. Я почти шептал, у меня пересыхал рот, но я не останавливался, словно боясь, что меня перебыют, не выслушав до конца. Я

4035320
0101033

сказал все, что хотел сказать, все, что столько времени таил в душе, все, что запруженной рекой рвалось наружу, прозя прорвать плотину и погубить меня. Я чувствовал, как открылись плюзы, представив водовороту выход, и я постепенно становился все более и более свободным, опустошенным, курил сигарету за сигаретой, и говорил, говорил... говорил... Я говорил, что безгранично, больше самого себя люблю ее, и у меня уже нет больше сил молчать и выносить эту муку. Я говорил, что не ищущи сочувствия, не желаю его, поэтому мы должны расстаться, стать чужими, пусть отныне она не считает меня своим другом, а я постараюсь как-нибудь забыть ее, так лучше для нас обоих, другого выхода нет, да я и не могу по-другому...

Подобные слова, наверняка, приятны каждой женщине, но даже отблеска радости не заметил я на лице Софики, она не отводила от меня растерянных и удивленных глаз, в которых блестели слезы. Но бог знает, были это слезы печали или загаенной гордости? Может быть, мой поступок не казался ей таким преступлением, каким считал его я сам? В те годы я был юн и наивен, еще не понимал, что не существует такой женщины, которой не льстило бы объяснение в любви, от кого и в какой форме оно бы ни исходило.

— Я считаю тебя своим лучшим другом, все это так неожиданно...

— Знаю! — перебил я. — Знаю, но что делать? Ты должна простить меня, что я невольно перешагнул эту грань... Я сознаю, что я виноват...

— Наклонись, я что-то скажу тебе.

Я нагнулся. Она обхватила меня за шею и прижалась к моей щеке. И ощутив прикосновение ее теплого, душистого лица, я чуть было не забыл про Вахтанга, чьим поверенным в сердечных делах был долгое время, дружба с которым накладывала запрет на любовь к этой девушке, и внезапно мне открылось, что из-за всего этого я давно уже не люблю Вахтанга, так, как прежде...

— Нет, ты не виноват!

Потом я слонялся по улицам, не зная, куда деваться от пронзительного ощущения одиночества и пустоты. Я брел, пошатываясь, хотел плакать и не мог. Было поздно, — объяснение мое, видимо, затянулось. Я даже не вспомнил покинутых в ресторане друзей. Иная жизнь ждала меня отныне. Душа скорбела, но в то же время я замечал, что меня явно радовало, что я, наконец-то, избавился от тяжкого бремени, столь долго меня угнетавшего. Никогда еще не ощущал я себя таким беспомощным и опустошенным.

Не помню, долго ли носило меня по улицам, только вдруг я заметил своего друга Парнаоза, еще более пьяного, чем я.

— Аух! — как сумасшедший завопил он. — Здорово, Тархудж!

— Будь здрав, Парнаоз! — живо откликнулся я и сразу пришел в себя.

Мы обнялись.

— Вы, кажется, где-то кутили, юноша! — патетически провозгласил Парнаоз, оглядывая меня с головы до ног.

— И вы тоже не выглядите голодным и жаждущим!

— Ха-ха-ха! — закатился мой веселый друг. Когда в полночь встречаются две благородные личности, это дело необходимо отметить! — воскликнул он.

— Непременно! — поддержал я.

— Тогда — вперед! — Парнаоз простер руку, и полчаса спустя, мы уже были в Ортачала, сидели на застекленной веранде старого дома Парнаоза и тешились вином.

Наутро я проснулся очень рано. Голубоватый свет заливал веранду. Со сна я сначала не сообразил, где нахожусь, но постепенно узнал тесную комнатку Парнаоза. Услышал храп — одетый Парнаоз спал растянувшись на тахте. Стол был завален неприбранной посудой и пустыми бутылками. Я припоминал, как заявился сюда среди ночи, как пил, пел и хохотал. Вспомнил свое взвинченное веселье. Затем вспомнилась Софиго, ее полутемная комната, где я выискал все, где без утайки открыл душу и сразу обрел удивительную свободу... Необычайные легкость и радость окрыляли меня. Я был горд, что переселил себя, избавился от рабского ярма, так долго тяготевшего надо мной, как будто разом разорвал цепи и освободился.

Нечто подобное пережил я, когда умерла моя тетька. У нее случилось кровоизлияние в мозг, и три дня бедняжка находилась в бесспамятстве. За эти три дня я не сомкнул глаз, не проглотил и куска хлеба. Как ненормальный носился я то за врачами, то в аптеку, словно утопающий, хватаясь за любую соломинку, в надежде спасти тетю. И вот однажды вечером, когда я бегом возвращался домой с лекарствами, на лестнице меня остановил один из наших родственников:

— Мужайся, Тархудж, тетя скончалась...

И первое, что вместе с пронзительной душевной болью испытал я в это мгновение, было облегчение, даже что-то вроде радости, оттого что мучительное ожидание закончилось. Видимо, самое невыносимое в жизни — это неопределенность...

С того дня я перестал мечтать о Софиго и окончательно избавился от своего наваждения. Думается, это удалось мне потому, что к тому времени страсть моя исчерпала себя, и хотя Софиго оставалась такой же, ничуть не изменилась, чувств моих как не бывало. Конечно, первична — страсть, независимое ни от кого желание любить. Будь это не так, нам не удалось бы забыть одну женщину и увлечься другой. Но поскольку нам удастся это сделать, значит любовь к женщине отнюдь не бескорыстна. В таком случае можно ли такое чувство называть любовью?

Каждому ясно, что бескорыстная любовь не требует взаимности. Истинной любовью следует называть только такое чувство, когда ты готов отдавать, жертвовать всем, ничего не требуя взамен. Такова любовь каждого нормального родителя к детям. Родители ведь никогда не забывают о своих чадах. Такова примерно любовь каждого великодушного человека к близким, к родине, к миру. Но кто способен столь же бескорыстно относиться к женщине? Как бы ты ни сходил с ума, не добившись взаимности, в конце концов охладеешь, к той, без

которой не представлял себе жизни. Так что же такое эта неслетовая страсть, облачаемая почему-то в покровы красоты, но сама по себе отнюдь не прекрасная, а просто неизбежная? Что мимо восхитительного, сколько унижительного, лживого, мелочного и даже смешного обнаруживается в отношениях мужчины и женщины? Кто знает, может, некоторые оттого и стараются представить эти отношения в самом радужном и привлекательном свете? Ведь всякое стремление к красоте, в принципе, основывается на уродстве. Но мы старательно закрываем глаза на этот факт. А то, что лишает нас покоя — просто-напросто грубый и неизбежный закон, и мы — носители этого закона с рождения, как впрочем и носители смерти, которая в нас изначальна. А стремление к красоте рождается потом. Ибо прекрасное — так или иначе продукт определенной культуры, а не отвлеченное, независимое понятие.

Многое человеку дано заведомо, многое он чувствует и знает еще до того, как испытает сам. Я помню, как пережил в детстве воображаемую смерть матери, когда однажды, возвращаясь из школы, увидел через зарешеченное окно первого этажа молодую покойницу, лежавшую посреди комнаты, и маленькую девочку с бантом в волосах. Та смерть не касалась меня, но поскольку смерть как таковая была во мне, я проникся ею, перенес ее на свою мать и пришел в ужас. Одно время я столь же отчетливо переживал безнадёжную любовь Бараташвили к Екатерине Чавчавадзе, и я мучился вместе с Тато, и я любил некую свою Екатерину Чавчавадзе, не зная еще, кому в моей жизни отведется ее роль, в чьем образе воплотится этот символ. Но все-таки муки неразделенной любви я испытал прежде, чем мне в действительности пришлось изведать это далеко не приятное чувство...

...Между тем улицы Анчисхати остались позади, и я вышел к набережной. Свежий запах воды обдал меня, запруженная Кура отливала зеленоватым, мшистым цветом. Я оперся о парапет и уставился на воду. Из-под моста показался катер, поднявший волну. Мелкие волны одна за другой зашлепали о гранитные стены набережной. На палубе катера стояли двое молодых людей. На том берегу реки виднелись очертания Чугурети, с ними, на скале — Авлабар и Элиа, а еще выше, за железной дорогой — Арсенальная гора...

Я продолжил путь и, идя сквером, смотрел снизу на проносящиеся по каменному мосту трамваи и машины. В школьные годы, удрав с уроков, мы часто собирались в этом сквере и играли в «круглого осла». Сейчас я с удовольствием вспоминал прогулянные уроки, волнующее ощущение свободы и риска, которым охвачен каждый прогульщик. Из этого сквера прекрасно видна Мтацминда. А Мтацминду я любил больше всех районов Тбилиси...

Может быть, и в этой любви был повинен Бараташвили. Мтацминда и Бараташвили с самого начала представлялись мне неразрывным понятием. Я почему-то всегда гордился тем, что сто лет назад Бараташвили учился в той же школе, в стенах которой и я провел часть своей жизни. Опершись спиной о гранитный парапет, я загляделся на Мтацминду. Я видел и

белый храм святого Давида, и верхнюю станцию фуникулера и маленькие, со спичечный коробок, вагончики, и сверкающую телевизионную антенну, стрелой вонзившуюся в ярко-голубое небо. А во времена Бараташвили отсюда можно было видеть один лишь храм...

Школа, по правде говоря, не оставила по себе счастливых воспоминаний, но сейчас, после стольких лет я с какой-то сладкой грустью ощутил то весеннее, расслабляющее тепло, когда после уроков мы с гвалтом карабкались вверх по крутой тропинке Мтацминды, а вокруг источали благоухание цветущий миндаль, сирень, и акация; покрытые пустой зеленою склоны и глинистые обрывы были прекрасны, как во сне. Внизу бурлил огромный город, но какая поразительная тишина стояла в пантеоне! Тишина и прохлада... Откуда-то доносились журчанье родника, шелест листвы, пенье дроздов, а на одном из деревьев неустанно свиристела невидимая пичужка — чжж, чжж, чжж... Воздух пропах сладковатым ароматом кладбищенских ирисов, и я подолгу простаивал здесь в одиночестве, отрешенный от городского шума и суеты, вслушиваясь в дивную мелодию:

О, Мтацминда, святая гора,
Как задумчива ты и пустынна¹.

Сейчас здесь не чувствовалось ни таинственности, ни пустынности, но эта грустная песнь души, это глубокое, скорбное чувство все равно целиком были моими. Я в задумчивости замирал у могилы своего старшего товарища по школе; мне не довелось встретиться с ним, но казалось, я давно знаю его и всем существом привязан к нему. Это была настоящая любовь — бескорыстная, возвышенная и прекрасная. Ничего подобного не испытывал я ни к кому на свете, и завидовал Тато за эту чистую любовь, за то чувство, которое сам к нему питал. Как мне хотелось, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь с такой же силой полюбил и меня! Погруженный в раздумья стоял я у могилы, и в эти минуты Тато был во мне, в моем существе, которое как бы раздваивалось — одна, невидимая часть его оторгалась от другой, видимой, и, оторвавшись от материальной сущности, от законов времени и пространства, существовала только тем настроением, которым был охвачен маленький Тархужд Гурамишвили, беспомощный, слабый, мечтательный, не нужный никому на свете.

Стоял Тархужд у могилы своего гениального соотечественника и представлял себя сиротливой душой². Он никого не понимал и не доверял никому. Он не знал, с кого брать пример. Родителей не помнил, не знал родительской любви и ласки. Детство его прошло в одиночестве. Он был чужим для всех, словно незваным явился в этот суровый мир, заранее побежденный эгоизмом и черствостью. Он был предоставлен самому

¹ Строки из стихотворения Н. Бараташвили «Сумерки на Мтацминде».

² «Сиротливая душа» — стихотворение Н. Бараташвили.

себе. Целыми днями пропадал на улице, водился с уличными ребятами, дрался вместе с ними, сквернословил, но все-таки он отличался от них, все-таки был человеком иного склада, ибо не был стоять у могилы своего гениального товарища по школе задумчивый и печальный, но все равно счастливый той любовью, которую испытывал к Бараташвили.

Солнце стояло высоко над городом. Я почувствовал голод. С утра бродил я по знакомым улицам, и маковой росинки не было у меня во рту. Медленно ступал я по дорожкам только что политого сквера, стараясь не испачкать обувь. Кирпичная крошка, которой были посыпаны аллеи, окрашивала воду в кроваво-красный цвет. Длинные скамьи по краям аллеи и каменные ступеньки лестницы, ведущей из сквера к мосту, были мокры. Спорбленный старик-садовник в изрядно намокшем синем халате, подтянув к кустам длинный резиновый шланг, мощной струей промывал листву. Он был небольшого роста, с сильными, привычными к труду руками. С политых деревьев струилась вода, в воздухе пахло свежестью, как после дождя.

Я вышел на улицу, и огромная машина «Молоко» пронеслась перед самым моим носом. Грохоча и звеня, прокатил по мосту над набережной трамвай. На этом месте, где сейчас стоял я, когда-то протекал рукав Куры. Может быть, отсюда черпали воду водоносы, когда в Тбилиси не было водопровода. Потом русло засыпали, провели тут улицу, а старый мост остался. Я бегом пересек дорогу, чтобы не угодить под машины, мчащиеся на бешеной скорости, и направился к базару. Вдоль противоположной стороны улицы тянулись корты, где уже тренировались теннисисты в белой спортивной форме. На девушках были короткие, как у балерин, юбочки, и, проходя мимо, я с удовольствием поглядывал на их голые ноги. Потом я свернул к базару, и меня сразу обдало его гомоном. Ступив на базарную площадку, я едва не столкнулся с Шалвой Дидимамишвили. От радости и удивления я чуть было не окликнул его, но вовремя заметил, что он еле держится на ногах. Шалва уже успел где-то наклюкаться, и в таком состоянии не стоило встречаться с ним. Я шмыгнул за чьи-то спины, чтобы он не заметил меня...

Странным показалось мне, что в первый же день приезда я столкнулся с Шалвой. Он был все такой же. Как видно, за пять прошедших лет ничто не изменилось в его жизни. Остатки его давеча, он, верно, ни капли не удивился бы, уверенный, что видел меня последний раз пять дней тому назад, и, может быть, попросил бы денег на выпивку. Но самым удивительным было то, что именно сегодня, когда Шалва несколько раз возникал в моей памяти, я повстречался с ним. Часто случалось так, что мне снился кто-то, а на завтра я непременно сталкивался с ним на улице или где-нибудь возникал о нем разговор, и я сразу вспоминал свой сон.

На базар я не зашел.

Я любил этот базар, здесь иногда мы встречались с Мефи. Мы бродили вдоль длинных прилавок, ломившихся под грудами фруктов и овощей, овеянных всевозможными аромата-

ми, натыкались на покупателей, которые в свою очередь толкали нас, внимали разноголосому гомону, покупали, что приглянется, и поднимались к Мери на Куджорскую улицу, в маленькую комнату, где нам так нравилось бывать вместе. В ту пору это было для меня главным, и об остальном я не думал...

Это была рослая, смуглая, несколько худощавая девушка, с черными, как у Жанны, глазами и чуть заметным пушком на верхней губе. Не подвернись она мне тогда, может быть, и Софики не забылась бы так легко. Одна женщина помогает забыть другую, другая — третью, и хотя говорят, что ту, которую любил больше всех, никогда не забудешь, но я в это не верю. Само слово «любил» подразумевает, что все в прошлом, что ты уже не любишь, что тебе до нее нет никакого дела. Новые заботы, появляющиеся у нас со временем, гасят и ту страсть, которая, возможно, была самой большой и сильной за всю нашу жизнь. Некоторые хватаются за какое-нибудь дело, чтобы понравиться возлюбленной, доказать ей что-то, но потом избранное дело захватывает человека, подчиняет себе, иногда он добивается цели, уже не помня, почему взялся за него, потому что с течением времени погасло чувство, давшее толчок его деятельности.

...Я свернул в узкий, но тем не менее людный переулок, где вдоль стен выстроились точильщики со своими станками.

Переулок вывел меня на улицу Бараташвили. Перед мануфактурным магазином продавец в белом халате торговал газированной водой. Я выпил стакан. У тротуара стояло несколько машин. В дверь булочной входили и выходили женщины. Допив стакан, я подошел к газетному киоску, посмотрел, что там есть, купил несколько газет. Киоскер предложил мне свежий номер иллюстрированного журнала. Я не собирался покупать никаких журналов, но седой киоскер был так любезен, что я не мог отказаться. Свернув газеты и журнал, я сунул их под мышку, пересек улицу и вошел в закусочную. У стойки тщедушный, худой старикашка в картузе, изрядно подвыпивший, ругался с буфетчиком. У буфетчика была совершенно разбойничья рожа.

Я сделал заказ, встал у стола и развернул газету. Интересного ничего не было. Вскоре буфетчик вышел из-за стойки и расставил передо мной тарелки с закусками. Я свернул газеты, отложил их и принялся за еду. Сквозь широкую витрину виднелась улица. Противоположная сторона ее была освещена солнцем. Проехал троллейбус...

...Раньше по этой улице ходил трамвай. После уроков мы часто приходили сюда и соревновались между собой в прыжках с подножки. Вспрыгнуть на площадку и соскочить на полном ходу считалось героизмом. Двери у тогдашних трамваев не закрывались, и многие стали жертвами этого бессмысленного спорта. Именно так погиб Тенгиз, паренек из нашего квартала, единственный сын у родителей. Когда он вспрыгивал на подножку, поскользнулся и угодил под колеса трамвая на полном ходу. Славный был мальчик, тихий, воспитанный, года на два моложе меня. — Все, бывало, ходил в английских брючках до колен и в гольфах. Он учился играть на скрипке, из-за ко-

1935340
5102-111033

торой немало издевок перенес от местного хулиганья. Однажды у него отняли скрипку, а он, бедный, стоит и плачет. Я как раз возвращался из школы. Что, спрашиваю, плачешь? Рафик отвечает, отнял скрипку и не отдает. А Рафик с друзьями стоят неподалеку и потешаются. Этот Рафик считался в нашем квартале отпетым типом, одно время даже сидел за воровство в детской колонии. Он был старше меня года на три, а в нашем возрасте такая разница имела большое значение. Отдай скрипку, — довольно спокойно сказал я. А ты чего лезешь? — услышал в ответ. Я сунул портфель Тенгизу и медленно приблизился к Рафику, замирая от собственной храбрости, — верни скрипку, говорю я ему. А он мне: проваливай, за своим носом смотри! Пошли, говорю, посчитаемся! Я же сожру тебя, — засмеялся Рафик. Тут я не удержался и выругался. Поглядите на этого сопляка! — И с этими словами Рафик ударил меня в лицо.

— Ах, так! — прохрипел я и сбросил китель.

Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди от волнения и злости. Сразу же около нас образовался круг, и мы сшиблись. Первый удар получился у меня как нельзя лучше — Рафик стукнулся головой о стену. Осмелев, я стал колотить его изо всех сил. Но он поддал мне под дых и повалил на мостовую. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Я перемазался в пыли и крови. Рафик бил меня лицом о булыжник, и я чувствовал, как текла кровь из разбитых брови, носа и губ. В отчаянии я полз к стене, чтобы хоть как-нибудь вывернуться из его когтей. Потом с большим трудом я высвободил одну руку, стиснул его лицо и что было силы вдавил в стену. А сам все вползал наверх, по стене, выбираясь из-под него и не разжимая пальцев. Полщеки ободрал ему о кирпичную стену.

— Пусти... твою мать, хватит! — завопил он.

Нас растащили, я поднялся, еле переводя дыхание. А Рафик даже встать не мог. Он сидел у стены, зажав грязными руками ободранную щеку, и выл от невыносимой боли.

— Где скрипка? — спросил я.

Ее тут же принесли и отдали хозяину. Губы, нос, надбровья, все лицо у меня налилось синевой. Одежда была в грязи и крови. Помнится, боль не давала мне уснуть всю ночь, и я начал потихоньку скулить. Скулил я, должно быть, долго — проснулся теткин муж. Как ненормальный вылетел он из своей спальни, вырос надо мной с перекошенным от злости лицом и с размаху закатил мне оплеуху. «Он, видно никогда не образумится», — орал он, и бедная моя тетка, побаивавшаяся супруга, поддакивала ему:

— Прямо не знаю, что с ним делать, с ума он меня сведет, настоящий бандит вырос!..

Что поделаешь! Война только что закончилась, нервы у всех были расшатаны. Он был ученым, и научная работа, видимо, изрядно изматывала его. А я вращался не в лучшем кругу, многие из моих тогдашних приятелей плохо кончили. Кому тогда было дело до меня и моих сверстников?!

Не приходится спорить, воспитание и среда, окружающие подростка, имеют большое значение, но столь же очевидно, что

в формировании человека решающую роль играют все-таки врожденные качества и склонности, которые затем, под влиянием окружения оформляются в определенный характер. Будь это не так, многие выдающиеся личности остались бы заурядными обывателями, продуктом той среды, в которой родились и воспитались. И мне, видимо, не суждено было оставаться в прежней компании. Даже в ту пору, когда я водил дружбу с этими сбившимися с дороги парнями, в глубине души я осуждал их. Правда, мы старались во всем подражать друг другу, но я чувствовал, что поступки наши далеко не похвальны. Может быть, это и спасло меня. То, что было заложено во мне с рождения и временно заглушалось, все равно взяло верх и стало моей нынешней натурой.

Помню, как здесь, на этой улице, я впервые увидел человека, попавшего под трамвай. Конечно, это случилось здесь, у самого въезда на старый мост. Тогда я был совсем маленький — дело происходило до войны, и случай этот запомнился мне, вероятно, потому, что тогда я в первый раз сидел на коленях у деда рядом с шофером. А сидеть рядом с шофером было в ту пору моей самой заветной мечтой. Для меня не существовало более уважаемых и храбрых людей, чем шоферы. Часто выкатывал я на наш старинный, длиннющий балкон свой маленький трехколесный велосипед, переворачивал его вверх колесами, подтаскивал низенькую скамеечку, усаживался и часами крутил переднее колесо, воображая его рулем автомобиля и подражая движениям дедовского шофера. Кто-то, крича, подбежал к нашей «эмке», но я не понимал, о чем они говорили с дедом. Потом к машине бегом поднесли юношу с разможенной, окровавленной ступней. У него были очень густые волосы. Именно тогда, повернувшись, дед подхватил меня и перенес к себе. Помню, как странно я чувствовал себя на дедовских коленях, а на моем обычном месте сидели незнакомые мужчины. Окровавленная нога не пугала меня, настолько велика была радость сидеть рядом с шофером, что она затмила все остальные чувства. Машина летела. Куда? Уже не помню, должно быть, в больницу. Как мы довезли юношу, чем все это кончилось — совершенно не помню. Не могу вспомнить и то, куда возил меня дед на своей старой «эмке», память сохранила только отдельные места, разрозненные куски ландшафта — скудные, выжженные холмы где-то за городом и зеленоватую или бурюю воду Куры, название которой, «Мтквари»¹, звучало для меня зловеще, потому что один из соседних ребят — не знал его, во всяком случае, сейчас не могу припомнить, — купаясь, утонул в Куры, кажется, около Мцхета, и, когда взрослые со скорбными лицами говорили об этом, слово «Мтквари» объединялось в моем сознании со словом «мвдари» — покойник, и я сжимался от страха.

Дед казался мне суровым и скупым на слова. Такое представление сложилось у меня, видимо, от того, что взрослые, тетка и все близкие, держались с ним почтительно. Что же удивительного, что я побаивался этого седовласого, тщательно выб-

¹ М т к в а р и — грузинское название Куры.

ритого, худощавого и прямого старика с короткими усами, который всегда был серьезен, вечно читал нотации и не любил играть с детьми?! Тогда я не любил деда, и только потому, что меня дошло, как он был привязан ко мне.

Когда он умер, я не особенно огорчился...

Я был уже большим. Хмуρο и замкнуто держались люди, только что перенесшие войну. Но мне все-таки запомнился плач тети и приглушенные всхлипывания ее мужа. Впервые видел я плачущего мужчину, и удивлению моему не было границ.

Дед жил неподалеку от нас, с бабушкой, своей второй женой. Они поженились задолго до моего рождения, а до тех пор дед много лет вдовствовал. У бабушки не ладилось с грузинским — ее отец был морским офицером в довольно высоком чине и долго жил в России, потому вся молодость бабушки прошла в Петербурге.

На следующий день после смерти деда меня послали к ним с каким-то поручением. Помню, как, замирая, вступил я в их двор и осторожно поднялся по лестнице. Увидел, что дверь открыта, робко вошел в коридор.


— Это ты, Тархудж? — вышла из комнаты бабушка. Она была низенькая, круглая, толстая, совершеннейший антипод деду.

Я украдкой бросил взгляд в комнату, в центре ее стоял огромный гроб, в изголовье возвышалась пальма с широкими листьями, обычно находившаяся в коридоре. Вся мебель, кроме длинного, сейчас завешенного простыней трюмо у стены, была вынесена. Непривычной была пустота этой комнаты. В другое время там нельзя было пройти, не задев какой-нибудь вещи. Затаив дыхание, растерянно стоял я в дверях, и до меня доносилось монотонное тиканье стальных часов. Вынесенные в коридор вместе с другими вещами, они стояли на каком-то сундуке. Несколькими днями назад эти часы висели в комнате между кроватями деда и бабушки.

— Видишь? Ушел от нас Симон, царство ему небесное, — почему-то улыбувшись, сказала бабушка.

Я подумал, что она, наверное, не особенно убивается по деду. И сам я не испытывал никакого сострадания к деду. В те дни я вообще не переживал ничего, кроме собственного одиночества. Тетка моя недавно приехала, и я еще не привык к ней. Лишенный заботы и внимания, я был на диво безразличен и равнодушен. Единственный человек, которого я горячо любил, был дядя Арчил, но и того уже не было в живых.

Позднее, когда я вырос, я понял, что дед был очень добрым человеком. Свидетель и очевидец многих событий, он долго жил в Европе, великолепно знал иностранные языки, знал и эсперанто, которому намеревался обучить меня, но не успел. Этим искусственным языком он овладел в Голландии, в стране, где взрослые и дети ездят на велосипедах, а тротуары моют горячей мыльной водой. Я помню фотографии с видами голландских городов, которые бабушка частенько показывала мне. Любил дед и искусство, особенно оперу, а всем операм предпочитал почему-то «Самсона и Далилу», которую тогда ставили на сцене нашего оперного театра. Он был страстным поклон-



ником Фатьмы Мухтаровой, с большим успехом выступавшей в роли Далилы. Он покупал билеты за несколько дней до представления, непременно в партер; собираясь в театр, особенно тщательно брился, смазывал волосы бриллиантином, надевал белоснежную крахмальную манишку, завязывал галстук, облачался в smoking, из нагрудного кармашка которого выглядывал уголочек белого платка, брал в руки просточку с круглой ручкой и не спеша, в праздничном настроении шествовал в театр. Смерть Ваню Сараджишвили он воспринял как личную трагедию. Жил он в то время на проспекте Рушавели, по которому еще ходил трамвай, делавший круг на бывшей Ереванской площади перед караван-сараям, где была извозчицья стоянка. В своей комнате между дорогих, привезенных из-за границы картин он повесил увеличенную фотографию Ваню Сараджишвили. В свободное время дед любил, опираясь о подоконник, глядеть на гуляющих по проспекту, на женщин в длинных платьях, в беретках или широкополых шляпах, на почтенных мужей в длинных пестрых галстуках, в гамашах на остроносых туфлях и с тростью в руке; на самоуверенных чекистов в зеленых суконных гимнастерках, перетянутых портупьями, с маузерами на боку, в блестящих желтых кожаных крагах, на рабочих в синих блузах, которые собирались у биржи труда. Иногда кто-нибудь из знакомых, завидев деда с улицы, вежливо снимал шляпу:

— Добрый день, Симон! Как поживаете?

— Весьма благодарен, все в порядке! Как ваши дела?

— Благодарю вас, превосходно! Как вам понравился в субботу Кумсиашвили в партии Абесаломы?


— Он был великолепен, просто великолепен!

Иногда он усаживался в плетеное кресло-качалку и, покачиваясь, читал Ги де Мопассана. Из русских писателей он отдавал предпочтение Тургеневу, из грузинских после Рушавели — Александру Казбеги и Акакию Церетели. Помимо оперы и литературы, любил он и спорт. Иногда целый день проводил на ипподроме в Дидубе, а прославленный жокей того времени Хиндрава был его другом. Это увлечение обходилось деду в копейку, потому что тогда частенько играли на пари, и ему не всегда везло, хотя немногие могли сравниться с ним в знании чистокровных лошадей.

Дома у него хранились всевозможные журналы и книги, посвященные верховой езде. По сей день прекрасно помню один фотоальбом. С каким восторгом разглядывал я прекрасных лошадей на его воцеленных страницах, часами любовался их грациозными стойками, удлиненными, изящными мордами, навостренными, похожими на листья лавра ушами, чуткими ноздрями, умными, милыми глазами. Мне не надоедало бесконечно листать этот альбом.

Когда в моду вошел футбол, дед заделался страстным болельщиком и до войны не пропускал ни одного матча.

Спорт был подлинной страстью и Арчила, брата моей матери, младшего сына деда. Мой любимый дядя был, оказывается, универсальным спортсменом — футболистом, боксером, пловцом, гимнастом. Помню, когда мы жили вместе, в одном



углу комнаты постоянно лежали его бутсы и гольфы, а на стене висели большие круглые боксерские перчатки. Каждое утро голый по пояс выходил он на балкон, где висели кольца, и там же упражнялся. Повиснет, бывало, вниз головой и вытянет к потолку ноги. Он был высокий и сильный, с крепкими, как железо, мускулами. Помню, присядет передо мной на корточки, сожмет руку и даст потрогать бицепсы. Я удивлялся их твердости, а он серьезно внушал мне, что и у меня будут такие же, если я стану хорошо есть. После этого я уже не капризничал за обедом и все поглядывал на дядю, мне хотелось, чтобы он заметил, с каким аппетитом я уничтожаю все, что дают. И Арчил подбадривал меня: «Давай, давай, молодец!». Густые каштановые волосы он стриг совсем коротко, такая прическа называлась «бокс». Усов он не носил. А как заразительно смеялся мой дядя! Часто, бывало, схватит меня под мышки и ну поджимывать к потолку, все выше, выше, выше, и, хохоча, ловит у самого пола. Сердце мое замирает от страха, но я радостно кричу: «Еще, еще!». Ему приятно играть со мной. Он был единственным, кого я по-настоящему любил в детстве. Я почти не расставался с ним, и ему тоже не надоедало быть со мной. По утрам, если ему не удавалось тайком от меня ускользнуть на лекции, я не отпускал его и бывали случаи, когда он брал меня с собой. Смутно, как сон, вспоминаются огромное здание, коридоры, заполненные людьми, — вероятно, это был институт, просторная аудитория, где какие-то девушки тормозили меня, целовали, усаживали с собой. Я с удовольствием устранился на коленях какой-нибудь красивой тети, которой в то время, наверно, было не больше двадцати-двадцати двух лет, и сидел спокойно, при условии, если Арчил находился рядом. Наконец, устанавливалась тишина, все внимали преподавателю. Некоторое время и я сидел, присмирив, а потом засыпал, и дяде часто приходилось относить меня домой на руках. Я всегда гордился Арчилом. Все уважали его, и мне казалось, что каждый в нашем городе узнает моего дядю — высокого, сильного, порывистого. Любое дело спорилось в его руках, он водил машину и мотоцикл, мог натереть пол, разобрать и подчинить утюг или стенные часы, и я всегда радовался, когда он брался за какое-нибудь дело.

Ему исполнилось двадцать три, когда началась война. Помню, как он вошел в комнату в военной форме, остриженный под машинку. Громко скрипели новенькие сапоги. Приятно пахла гимнастерка. Пока Арчил с серьезным лицом беседовал о чем-то с опечаленными родными, я надел его фуражку и побежал к зеркалу. Я радовался и гордился, что мой дядя идет на войну...


В том же году он погиб.

До гибели Арчила дед никогда не жаловался на здоровье. Каждое лето ездил отдыхать в Боржоми. Жил в санатории с колоннами, увитыми декоративным плющом. В Боржоми дед ходил во всем белом — белые пиджак и брюки, белые туфли, белая соломенная шляпа и галстук. Какая бы ни была жара — галстука он не снимал. Все лето он только и делал, что пил минеральную воду да фотографировался со знакомыми. Потом, набравшись сил, возвращался в Тбилиси и с головой уходил в

работу. Как говорили, он был замечательным экономистом, большим знатоком своего дела. Он умел превосходно рассказывать, но тогда я ничего этого не знал...

Подростки, я очень горевал, что дед умер так рано. Он, правда, был уже в годах, но если бы Арчил не погиб, может, дед прожил бы и десять лет, и того больше. Сколько бы я узнал от него! Сколько интереснейших историй унес он с собой в могилу! И бедная моя бабушка скончалась вскоре после смерти мужа. Правда, не она родила мою мать и Арчила, но любила она Арчила как родного, и гибель его очень на нее повлияла. Добрая и милая старушка была моя бабушка. Вечно готовила какие-то сладости и очень любила чай. У нее, как и у соседней Мери, стол был постоянно накрыт, и раз по десять на дню, если не чаще, она садилась чаевничать. А если не пила чай, то раскладывала пасьянс. У нее была замечательная посуда, особенно мне нравился старинный чайный сервиз — чашки и блюдца с тонким рисунком, хранившиеся в изящном японском шкафчике. Я до сих пор помню запах той комнаты и огромную трубку граммофона, стоявшего в углу. Смутно припоминается — вечер, играет граммофон на столе, сдвинутом к стене, — чай, печенье, и сладости. У нас были гости, танцевали. Кажется, Арчил учил их новому танцу. Я был совсем маленьким, и мне не нравилось, что мужчины и женщины кружатся в обнимку. Один что-то говорил во время танца смуглой, коротко остриженной партнерше. Эта женщина запомнилась мне, потому что громче всех смеялась. Я, надутый и недовольный, сидел в углу, рядом с дедом; положив ладонь на мою голову, дедушка задумчиво наблюдал за молодежью. Я был настолько мал, что совсем не помню лица наших гостей, но одна пара, танцевавшая около нас, навечно врезалась в память: стройная, красивая женщина и мужчина с длинными светлыми волосами, в сером пиджаке и галстуке. Они медленно кружатся и улыбаются мне. Горячая волна радости окатывает меня, когда я гляжу на них. Потом они останавливаются, женщина подходит и берет меня на руки. Она прижимает меня к груди — до сих пор сохранился в памяти запах ее теплого тела — целует, ласкает, несет в соседнюю комнату. Там темно. Женщина раздевает меня, укрывает одеялом и, напевая, присаживается на край постели. Затаив дыхание, я притворяюсь спящим. Потом жесткая щека мужчины прикасается к моему лбу. Я приподнимаюсь и открываю глаза. Это тот самый, белокурый. Он смеется. Я снова ложусь, замираю. Женщина напевает колыбельную. Я засыпаю. Сплю... Боже мой, ведь это мои родители! Это — они!.. Но к сожалению, кроме этого смутного ощущения, ничего больше не осталось в памяти...

Задумчиво дымя сигаретой, я шагал по проспекту Руставели. Стоял прекрасный солнечный день. Передо мной оживало мое собственное прошлое: те люди, что некогда окружали меня, снова были со мной; и многое, до сей поры казавшееся забытым.



Одно время я был частым гостем в семье Вахтанга. Помню приземистый, старинный четырехэтажный кирпичный дом на подъеме, сразу как сворачиваешь. Довольно длинное запыленное окно первого этажа выходило на улицу, на окне висела грязная штора, а в комнате всегда было темно. Днем и ночью горела копилка на столе, скудно освещавшая потолок и высокие прокопченные стены. Там обитали двое душевнобольных, мать и дочь. Они никого не беспокоили, вечно их можно было видеть молча сидящими за столом, на котором валялись консервные банки и разное барахло, но в детстве я почему-то боялся проходить мимо их окна. Иногда мать с растрепанными, совершенно седыми волосами, в черном платье, опершись руками о подоконник, сжав губы, с суровым и застывшим лицом глядела на улицу, где шумели и кричали возвращающиеся из школы дети. Дочь я часто встречал на улице, бредет, бывало, по тротуару, со спущенными чулками, в старых стоптанных чувяках, в перепачканном платье, сутулая, нечесанная, затравленная, ни на кого не обращающая внимания, глядит себе под ноги, улыбается чему-то своему и тихонько бормочет. У нее приятные черты лица, она довольно молода, вероятно, ей нет и сорока, но тяжелый недуг так надломил и согнул ее, что мне становилось жутко, едва я замечал эту безобидную дурочку. Когда она попадалась мне, я непременно сходил с тротуара, пропуская ее, а Вахтанг, если у него находилась мелочь, смело приближался к ней, совал в руку деньги, а потом укорял меня:

— Чего ты боишься, ведь она — несчастный человек, и больше ничего...

И за это я особенно любил его. Я любил его долго. Потом мы как-то отделились. Наверное, виной всему была Софиго. Каждое лето, бывало, мы вместе отправлялись в горы, но, после гибели Важа и эта традиция сошла на нет...

Действительно, после смерти Важа многое изменилось...

Именно тогда я познакомился с Мери.

На панихиде...

Узкая лестница была заполнена людьми. Они толпились и в комнатах, и в коридоре. Мери рыдала, припав к стене и закрыв лицо руками. Я пригляделся к ней, и мне показалось, что я где-то видел эту девушку, только никак не мог вспомнить, где именно. Вероятно, я просто никогда не обращал на нее внимания, но сейчас, видя ее — глубоко скорбящую, убитую горем, я проникся к ней теплым чувством, она вдруг показалась мне такой близкой и родной, что меня потянуло обнять и успокоить ее. Не знаю, с чего накатила такая блажь, но мне захотелось познакомиться с этой девушкой. В те дни я ходил как в воду опущенный и пребывал в тупом безразличии и отчаянии. Смерть Важа была для меня большим несчастьем, я совершенно лишился бодрости духа, от тысячи разноречивых мыслей раскальвалась голова, когда я оставался один; но на людях, даже на панихидах, где звучала похоронная музыка и по лестнице беспрерывно поднимался и сходил народ, оглядывая друг друга, я держался как-то неестественно; вопреки собственному желанию, я не был искренним, простым, невольно счита-

ясь с теми, кто наблюдал за мной, кто знал, что я друг Важа, и это деланное самообладание переходило в позу. Я замечал, что и другие ведут себя так же, испытывая примерно те же чувства, что и я, словно каждый желал выделиться, выделиться, словно все сохранили или приобрели сейчас желание играть; и я удивлялся, откуда это берется, почему мы маскируемся, почему мои мысли стремятся к совершенно постороннему, почему меня тянет заговорить с незнакомой девушкой, которая, спрятав лицо в ладонях, сиротливо жмется к стене и наверняка не подозревает о моем существовании. Возможно, общее горе, тяжесть общей утраты объединяли нас в тот момент, но главное заключалось, видимо, в другом, в том, что душа моя в ту пору нуждалась в особом тепле, а горе не подавляло эту жажду, как по моим предположениям должно было происходить, а наоборот, обостряло ее еще больше. Тогда я был молод, и безусловно, с этим тоже необходимо считаться. В общем, когда панихида закончилась и народ начал медленно расходиться, я последовал за девушкой, твердо намереваясь поговорить с ней. В глубине души я стыдился своего поведения. «Какое время знакомиться с девушками, когда Важа нет в живых! — думал я, но тут же находил оправдание. — Все — бессмыслица, надо делать то, что хочется, потому, что жизнь дана один раз. Почему, собственно, мне не познакомиться с этой девушкой?..»

На улице было темно. Не зная, с чего начать, я шел в нескольких шагах позади Мери. Вдруг она остановилась, обернулась, словно почувствовав, что я иду именно за ней, как-то странно глянула на меня, сошла с тротуара и помахала рукой идущей машине. Но машина не остановилась. В этот момент показалось свободное такси. Я выскочил на проезжую часть, остановил его и распахнул дверцу:

— Пожалуйста! — и посмотрел на девушку.

Мери тут же подбежала.

— Спасибо! — Она вежливо улыбнулась, захлопнула дверцу и уехала.

Весь следующий день я не вспоминал о ней, но перед самой панихидой внезапное и постыдное волнение охватило меня. Я ясно почувствовал, что мне хочется видеть Мери. Хочется, чтобы поскорее началась панихида, чтобы она пришла и я увидел ее. Мой лучший друг лежал мертвый, а я думал о незнакомой девичке, имени которой я тогда даже не знал. Я стыдился собственного малодушия и лепкомыслия, но никак не мог выбросить этих мыслей из головы и утешал себя тем, что раз я еще жив и пока хожу по земле, мне невозможно не думать о земном, несмотря на горе и искреннюю скорбь. В конце концов это ведь своеобразная отдушина. Почему человек не может отвлечься и тем самым облегчить свое горе, если это возможно? К началу панихиды я присмотрел себе место на лестнице, где Мери непременно заметит меня, если, конечно, придет. Так и случилось, она пришла в сопровождении какой-то подруги. Я поклонился ей, она ответила мне и встала неподдельно. Сегодня она уже не плакала так горько, как вчера, хотя глаза ее были полны слез. Кто знает, что переживала она, о

чем вспоминала? А я стоял почти напротив и не спускал с нее глаз. Из комнаты доносилась траурная музыка, народ поднимался и спускался по лестнице, женщины прикладывали к глазам платки, мужчины проходили, опустив обнаженные головы, и временами я начисто забывал о Мери, всякие мысли гасли во мне, я словно освобождался от всего, опустошался, теряя надежду, желания, цель; но затем снова вспоминал о Мери, стоящей в двух шагах от меня, взглядывал на нее, и меня, охваченного глубокой скорбью, согревало вдруг какое-то приятное чувство. Будто бледный свет разгонял мрак, переполнявший душу. Странно, однако, что все, происходившее со мной, толкавшее меня к этой девушке, совершалось по милости случая, потому что ведь, собственно говоря, я вполне мог не заметить Мери именно тогда, когда мне, как оказалось, невыносимо хотелось с кем-нибудь поговорить... Потом приятельница Мери ушла, и я посчитал долгом воспитанного человека подойти к оставшейся в одиночестве девушке. Во всяком случае, именно так, по моим предположениям, она должна была расценить мой шаг.

— Вы знали Важа? — озвёдомился я, приблизившись к ней, хотя было яснее ясного, что она знакома с моим другом, иначе ей незачем было сюда приходить.

— Очень хорошо, — ответила она.

— Простите, я не знаю вашего имени.

— Мери.

— Меня зовут Тархудж.

— Очень приятно, — улыбнулась Мери.

Остаток вечера мы простояли молча. Панихида кончилась, народ медленно разошелся. Мои друзья, наши с Важа друзья, ходили взад и вперед, курили, переговаривались. Некоторые знали Мери, перекидывались с ней двумя-тремя словами.

— Странно, вас знают почти все мои друзья, а я нет...

— Бывает... — ответила Мери.

Потом она решила идти домой, потому что время было позднее, я предложил проводить ее, и она согласилась без всяких колебаний.

Перевод А. БЕСТАВАШВИЛИ
и В. ФЕДОРОВА-ЦИКЛАУРИ

Окончание следует

Георгий НАТРОШВИЛИ

Белая осина

Город состоял всего из одной длинной улицы, вдоль которой по берегу ручья Чхоушиа тянулась величавая аллея огромных платанов, заложенная здесь еще в XIX веке поэтом Рафиелом Эристави. А чего стоил дворец Мюрата, где хранились редкие картины, привезенные сюда из незнакомой страны времен Наполеона!

Но пятнадцатилетнего мальчишку, ученика Зугдидской гимназии, тянуло не во дворец Мюрата, а к покосившемуся домику Миха Саджая, где он проводил все свое свободное время. Когда мальчик только еще отворял калитку, Миха уже весело приветствовал его:

— Пришел, дурче?¹

А «дурче», вбежав в дом, как голодный на еду, набрасывался на книги. У адвоката Саджая была великолепная библиотека. Рядом с богатыми изданиями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Тургенева, Некрасова, Шекспира, Шиллера, Шелли, Гейне на полках стояли томики грузинских писателей в скромных обложках. Мальчик жадно читал эти книги, пока не приходил адвокат и не просил его переписать очередную жалобу. «У тебя хороший почерк», — говорил Миха. И мальчик переписывал, таким образом отработывая свой дневной оброк. Адвокат снова шел в суд, чтобы привести в порядок свои запутанные, как мир, дела, а мальчик вновь оставался наедине с книгами, читая которые, забывал обо всем на свете. И о том, что жил он в Зугдиди, что был 1919 год, что в городе не было продовольствия и у единственной пекарни выстраивались длинные очереди... Ни о чем этом не пом-

¹ Дурче — белоголовый (мерг.).

нил он, погружаясь в волшебный мир пушкинских стихов, прислушиваясь к «Озимандии» Шелли, до головокружения зачитываясь Мольером...

Однажды он прочитал стихотворение Генриха Гейне «Сон», и что-то в нем показалось ему знакомым, хотя никогда раньше не читал его. Так в чем же дело? И вдруг мальчик вспомнил грузинское народное стихотворение «Ночью сон я видел, мама, к чему бы это было?» В этом сне юноше чудится, что упал тополь. Он спрашивает мать, что это значит. Она плачет. «Это, — говорит, — сынок, твое тело». Вода несет какой-то сундук, и на вопрос сына: «К чему бы это было, мама?» — мать отвечает: «Сынок, это твой гроб, горе твоей матери». Потом он увидит провалившуюся землю, и на вопрос сына мать снова ответит: «Сынок, это твоя могила». То же происходило и в стихотворении Гейне: там тоже был сон, в котором юноша видел себя в красивом саду, где незнакомая девушка стирала белый холст; когда юноша спрашивал ее: «Для чего тебе холст, зачем его стираешь?» — она отвечала: «Этот холст — твой саван». Потом юноше слышалось, как топором рубят дерево, и, когда он спрашивал: зачем рубят дерево, ему отвечали: доски нужны для твоего проба. Затем во сне он наткнулся в саду на людей, роющих большую яму, и, когда заинтересовался, что это, — услышал: это — твоя могила.

Такое сходство поразило мальчика, и он решил перевести стихотворение Гейне на грузинский язык.

Однажды, когда Миха вернулся из суда, мальчик протянул ему исписанный листок бумаги. Это было стихотворение. Называлось оно «Сон», из Гейне. Адвокат прочитал и задумался, будто речь шла не об одном стихотворении, а о судьбе человека. Помолчав, он сказал:

— Мне нравится, но поэзия не моя сфера. Когда я шел домой, в саду видел Лео Киачели. Давай покажем ему...

Но когда они еще издали увидели Лео Киачели, у мальчика подкосились колени. Он так оробел, что не смел приблизиться к писателю. Тогда адвокат сам направился к Киачели. Мальчик видел издали, как Киачели взял у адвоката бумагу, близко-близко поднес ее к глазам, прочитал, что-то сказал адвокату, который указал в сторону Алио. Потом Киачели направился к нему. Как говорится, если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. Но юный переводчик Гейне пустился наутек. В тот день Миха так нигде и не смог найти Алио. На другой день, упрекая своего юного друга, Миха Саджая сказал:

— Твое стихотворение понравилось Лео Киачели. Он сказал, что настроение передано хорошо... Велел тебе продолжать писать...

Похвала автора «Тариэла Голуа» послужила большим стимулом для начинающего поэта. Я думаю, ее можно считать его литературным крещением.

Но, когда много лет спустя Алио Мирцхулава рассказывал мне об этом и я спросил его — не остался ли у него этот перевод, он ответил: «Должно быть, где-то затерялся». Сам поэт

началом своей литературной деятельности считал датированное 1921 годом бунтарское стихотворение «Огненная стрела», которым открывается первая книга его двухтомника.

С самого же начала, с публикации первых стихов широкая популярность поэзии Алио Мирцхулава обусловило то обстоятельство, что читатель услышал в ней какой-то новый и в то же время близкий, знакомый, духовно родственный голос, напомнивший ему звуки гражданской поэзии XIX века. Наряду с этой традиционной музыкой грузинского стиха в произведениях Мирцхулава звучало доселе неведомое, принесенное революцией. Молодой задор, увлеченность, безоглядная устремленность вдаль зачастую приобретали у Алио Мирцхулава явно романтическую окраску.

Да и сама его поэзия была явлением новым. В стихах поэта личное непосредственно и совершенно естественно сливалось с большими общественными явлениями, а общественные, гражданские мотивы всегда были согреты теплом его поэтического сердца. Отсюда — новизна неожиданных художественных образов поэта, который мог, например, так обратиться к Грузии: «Я твоё сердцебиенье, любимая Грузия, чувствую по Куре...». И не только Кура, а весь живой мир органически, как кровообращение, вошел в существо поэта, в его мироощущение.

Полвека назад многие не знали, каким должен быть путь грузинской поэзии. Множество школ, манифестов, теорий пытались тянуть ее в свою сторону, уверяя, что это единственно верный путь. Но девятнадцатилетнего поэта не подвело чутье. Способность провидеть далекую перспективу помогла ему определить правильный путь. Именно тогда и написал он свой поэтический манифест — «Обращение к поэтам». Это было поистине программное произведение, побуждающее к действию, рождающее интерес к творчеству, обнадеживающее и подталкивающее.

Уже тогда молодому поэту было присуще понимание непрерывности грузинской традиции, уже в те далекие годы он предвидел трудности и испытания, которые предстояло преодолеть его родине.

Искренний патриотизм Алио Мирцхулава неотделим от чувства интернационализма. Этот мотив тоже с самого же начала четко прозвучал в его поэзии. В стихотворении «Путешествие в Сахару», написанном еще в 1923 году, грузинский поэт приветствует народы черной Африки и далекой Индии и мечтает о том времени, когда там поднимется «самум» революции.

В тот же период он публикует «Песню берлинских заключенных женщин» (1922). Города перекликаются у него, угнетенные по-братски протягивают друг другу руки. Все они стремятся к одному солнцу — солнцу свободы, свет которого озаряет мир из книг Ленина. На этом фоне поэт рисует образ Ильича. В этом смысле особенно интересно датированное 1927 годом стихотворение о Ленине, где образ вождя революции сгарен светом освободительной борьбы народов мира.

Уже в этот начальный период поэт вступает на продолжавшийся много лет путь многогранной, кипучей и полнокровной

творческой жизни. И хотя тематика его поэзии чрезвычайно многообразна, он, в первую очередь, — борец, строитель нового.

Это его свойство проявилось и в произведении «Вот чего век» (1928), где обнаружилась еще одна грань дарования Алио Мирцхулава — склонность к острой сатире. Им развенчивается обыватель, погруженный в свое животное существование. И хотя никаких целей в жизни у него нет, он носит маску деятеля, постоянно пекущегося об общественных интересах.

Нельзя без глубокого волнения перечитывать сейчас стихи поэта, написанные в пору военного лихолетья. Именно в них дала о себе знать сила веры советского поэта, которую ничто не смогло поколебать. Еще победно премели фашистские фанфары, а наши поэты с пронзительной поэтической интуицией, вернее, вооруженные точным знанием процессов развития истории, уже увидели крушение гитлеровской военной машины. В стихотворении А. Мирцхулава «Война и мир», написанном в 1943 году, обрисованы события ближайшего будущего — вступление советских войск на вражескую территорию, освобождение ими порабощенной Восточной Европы.

Поэт хорошо знал также, что эта победа не могла прийти сама. Для этого потребуются предельное напряжение всех духовных и физических сил народа, самопожертвование ради спасения человечества. Поэту советская поэзия, зовя народ на тяжелую борьбу, сама стояла рядом с ним. Голос поэта звучал на всех фронтах, во всех армиях, во всех полках. Его стих нес в окопы наказ Родины — не дрогнуть, не отступить. Он был частью того вооружения, которым был оснащен советский народ. Советская Армия.

Свое стихотворение «Морской орел» (1941) Алио Мирцхулава посвятил капитану Александру Цурцумия, бомбившему глубокий тыл врага. Его бомбы взрывали нефтяные базы Плоешти, перекрывали дороги гитлеровским головорезам. И всегда всем сердцем поэт — вместе с пилотом. Говорят, это стихотворение герой носил в кармане вплоть до самой своей трагической гибели.

А такие стихи поэта, как «Орел», «Ростов наш», «Киев», «Смоленск», приветствовавшие победы Советской Армии, освобождавшей города и села нашей Родины, воскрешают в памяти этапы победоносного шествия нашей армии, отстаившей новь нашей жизни.

Этой новой жизни, вообще новой эпохе, новому ее содержанию Алио Мирцхулава нашел в первых же своих стихах соответствующую поэтическую форму, отмеченную неповторимым национальным колоритом. В его творчестве ясно обозначилась новая Грузия с ее пейзажами, ее людьми. И, что наиболее примечательно, поэт показал это новое в процессе роста, формирования, постоянного развития.

И сам он всегда в поиске, в гуще жизни, всегда среди народа. Ему не только знакомо, но кровно близко все, чем живет его родная страна.

Для понимания сущности творчества поэта очень важно стихотворение «Ударные бригады», написанное на заре первой

пятилетки. Еще только начинали создаваться первые ударные бригады, а чуткий слух поэта уже уловил ритм их самоотверженного творческого труда. Это стихотворение было первой ласточкой, принесшей в нашу литературу новое слово, узаконившее в нем тему свободного социалистического труда, возведенного советскими людьми в ранг творчества.

Свободный, творческий труд с самого начала стал главной темой поэзии Алио Мирцхулава. Так, в стихотворении «Ударные бригады» дана общая картина завода, отражающая небывалый энтузиазм рабочих, охваченных мощным ритмом труда, опережающим прежние темпы.

И самое главное в том, что поэт относит себя к тем, кто своим трудом кует будущую победу.

Поэт точно определяет место и значение, которые отводятся ему в нашем бытии, в современной социальной обстановке. И это не просто красивая фраза. Всем своим творчеством он подтверждает свою причастность к строительству новой жизни. Он — художник новой Грузии. Поэтому в стихотворении «Родина» им нарисована знакомая и в то же время новая Грузия. Здесь картины природы переплетены с историей, с новой географией страны, с новым бытом народа. Все это дано в органическом единстве, рожденном взлетом поэтической фантазии, мощного реалистического таланта. Поэтом нарисована картина расцвета страны, где все цветет, благоухают цветы и победно реют знамена. И эта страна — новая Грузия, здесь поэту дорог каждый уголок, каждая пядь родной земли. С особой силой мы ощущаем это, когда читаем стихи «Колхида» (1938), «Хорга» (1924 — 1934), «Тело Куры» (1925) и другие.

Но представление о творчестве А. Мирцхулава будет не полным, если мы не вспомним о стихах, посвященных любви. Для поэта любовь — прекрасное излучение человеческой души, зовущее творить добро, быть стойким в борьбе за правое дело, за свободу и счастье родины, наполняющее сердце радостью бытия. В этом отношении наиболее типично для него стихотворение «Труд и любовь», представляющее собой гимн жизни, труду. И это потому, что сама любовь нового человека свободна, широка, всеобъемлюща.

Радость жизни наполняет и стихотворение «Во дворе фермы». Оно так живо воспроизводит атмосферу колхозной фермы, что вы словно ощущаете запах парного молока, слышите смех молодых доярок. К этому же циклу относится и «Песня комбайнера».

Прекрасными образцами любовной лирики Алио Мирцхулава являются стихотворения «К Сагурамо», «Первая любовь», «Девушка в белом», «Маленькой» и многие другие.

Не чужды поэту и философские раздумья над сущностью человеческого бытия. Но и тут — он прежде всего оптимист, наделенный неукротимым чувством жизнелюбия. В этом отношении он тоже неуклонно отстаивает принципы новой советской поэзии, о чем ясно говорят его стихи «Ночные раздумья», «Мое прошлое», «Время и расстояние», «Прыжок к солнцу», «Годы», «Буря», «Стих вечный» и особенно его «Миниатюры».



Для Алио Мирцхулава поэзия — высокая трибуна, с которой он служил самым передовым идеям эпохи, партии, роду, Родине.

Когда вся страна сражалась, стих поэта стал его оружием. Он был на передовой и тогда, когда воцарился мир и поэзия стала воспевать труд, любовь, красоту, голубое небо.

Он первый написал марш ударных бригад. Создал поэзию труда. Воспевал руки грузинского юноши, его труд. И он хорошо знал, не будь этих рук, не было бы Вардзии — высеченного в скале восьмизатяжного города. Не будь этих рук, не было бы Джвари на Мцхетской горе и первой грузинской ГЭС на Куре, недалеко от Джвари. Не будь этих рук, не зацвели бы сады Картли, виноградники Кахети и плантации Мепрелии. Не будь этих добрых рук, его родной край не был бы таким богатым и прекрасным.

Вот что подразумевается под новой поэзией труда и что вбирает в себя это понятие. И так воспринимал его Алио Мирцхулава.

«На скале стою я, белая осина, плечи приподняв, если в пропасть кто сорвется, руку я подам... О, Отчизна! Белый страж твой, никогда я не дремал, крепко в землю я твою укоренился, ветер, бушующий вокруг, меня не брал. Ночь исчезла, и сражений вихри, всполохи войны — утихли. Эта рана, как и та улыбка, — пули поцелуй... Я тревожусь, непрерывно в груди пламя раздувая»...

Поэт скончался, читая эти строки, проникновенные, как исповедь. Скончался он внезапно. Пал как воин на поле сражения. Но остался его стих, осталась его поэзия — эта своеобразная, летопись нашего времени.



Читая «Древо жизни»...

В поколении, несущем сегодня на себе основное бремя нашей литературной жизни, есть поэт, чья творческая биография нам представляется заслуживающей особого интереса. Это — Эмзар Квиташвили, новый сборник которого «Древо жизни» еще раз продемонстрировал своеобразие его пути.

Стержень поэтической мысли Эмзара Квиташвили в **напряженном интересе** к большим, коренным проблемам бытия. Следовательно, внимание уделено только тому, что органично для этого **интереса**. В процессе его выявления мы обнаруживаем, как мысль перевоплощается в чувство и на передний план выходит настроение и переживание. Так, многообразные видения, объединенные единым чувством, в итоге обретают силу могучих страстей.

Вот приближенная схематическая картина поэмы «Спасенная свирель»: среди экспонатов музея внимание поэта привлекает свирель, найденная в ходе раскопок. Так возникает образ маленького мцхетского мальчика, некогда владевшего этим волшебным инструментом:

Танцующие в божественной страсти
Пальцы твои представил я...¹.

Затем силой поэтической фантазии оживляется окружающий этого мальчика мир во всей неповторимости его колорита. Трагическое же звучание оборванной песни, таящей исповедь этой детской души, поглощается круговоротом таинственного течения времени.

Мифологизированные пласты языческого и христианского мира предстают здесь в виде антуража духовной и физической жизни лирического героя. А непосредственное переживание его боли и судьбы — первейший постулат лирической струи поэмы. Это сопереживание выполняет роль медиума между архангой и современностью и завершается мажорным финалом, продиктованным неизменным законом постоянной изменчивости и вечного обновления жизни:

¹ Здесь и далее стихи приводятся в подстрочном переводе.



Брат мой младший и больше, чем брат,
 Что пожелал бы ты с той вышины?
 Утро нагоняет тебя на вершине горы,
 И сверкают склоны белоснежного исполина;
 Твоего же роста ровесник твой,
 Мальчик огненного цвета быков погоняет...

В жизнь современного человека ощущение историзма входит по-новому. Взамен безвозвратно отошедшего прошлого человек пытается сотворить в самом себе и в близких себе предметах органичное для себя чувство историзма. Сознание некой «дистанции», нежелательной пропасти между историей и современностью породило особый модус, существование которого сегодня наиболее ощутимо. Именно это сознание рождает потребность приблизить минувшее, окунуться в живой поток истории (речь идет о самых глубинных ее пластах); отсюда же — чувство ответственности перед прошлым, преодолевающее даль веков. Печатью именно такого психологического настроения отмечена литературная жизнь нашего времени.

Поэма Э. Квитаишвили — в числе тех произведений сегодняшней грузинской литературы, в которых наиболее резко проявилась концепция «нового историзма».

Я знаю — даже если мир исчезнет,
 И если я уйду в глухую тьму,
 Я унесу тебя с собой, зеленый холмик,
 И помнить буду более себя...

Пусть безрадостным будет мой путь, как и твой,
 И постель моя так же в воде пусть постелена...
 Я несу к тебе пригоршню соли,
 Пусть быки твои слижут с ладоней ее.

(«Спасенная свирель»)

Спокойному, элегическому течению времени противопоставляется рассеянная в бесконечном пространстве энергия, преодолевающая барьер вечности. В эмоциональной достоверности диалога поэта со своим далеким предком обнаруживается еще один, совершенно новый ракурс «физического» ощущения прошлого. Несмотря на некоторую растянутость композиции, чрезвычайно интересны пассажи, самостоятельно завершённые художественные образы которых живут своей жизнью и овеяны особым очарованием.

Осознание нравственных и моральных основ регулирует внутреннюю смысловую структуру поэмы. Несмотря на то, что в ней доминируют прозрачные смысловые конструкции, «семантическое восприятие» не связано с непреодолимыми трудностями, поэму Эмзара Квитаишвили все же нельзя отнести к произведениям того типа, полное осознание которых возможно при помощи и с учетом традиционной модели.

Поэма «Древо жизни» — логическое продолжение «Спасенной свирели». Необычное чередование поэтических видений достигает на этот раз кульминации. Карнавальное шествие фантазмагорических масок как бы отходит от границ разумного восприятия и тонет в хаосе вечности. Струк-

тура всей поэмы почему-то напоминает мне характерные узоры раковины и таинственность исходящих из ее глубин звуков. «Рациональная» оболочка поэмы побуждает к определенной интерпретации, хотя и не поддается однозначному осмыслению.

Не стыжусь я, когда ты рабом называешь меня,
Сердце рушишь мое, будоражишь мне кровь...
Что напомнит тебя — пусть слезами сочтется
Застарелая боль, и такая внезапная боль.

Взвейтесь, крылья мои,
Возвратись, моя муза, ко мне.
Трудно боль свою, крик свой сдержатъ,
Когда имя твое затрепешет передо мной...

Ретроспекция пройденного жизненного пространства конкретизируется в нескольких символических картинах. Само ирреальное чередование этих картин вводит читателя в круг сложных проблем человеческого бытия, размышлений об основном смысле жизни. Очевидно, именно в этом плане оправдана авторская формулировка заглавия поэмы. Не случайно и то, что основной ее образ — опромный парк с цирковым манежем. В этом микромире ярче выявлен мир ложных ценностей. Тирада, произнесенная под сводами цирка, звучит как крик души всех отверженных, преследуемых и обездоленных, крик, обращенный к проникнутой ложной добротой самодовольной толпе зрителей:

Сколько зла в человеке —
— проявленном семени...
А душа — изошла вся в греховных болячках
И бледна, как бесцветное летнее небо.
Ты не верь ей, своею дорогой иди,
Помяни только бога и его попроси
Не плести тебе к смерти ведущую сеть
И от зависти и лицемерья избавить...

Вам приятно увидеть больных и увечных,
По канату идущего дрожь, трепетанье...
И от смеха умрете, коль кто-то случайно
Вдруг споткнется иль больно об лед ушибется.
Ваше хлопанье глаз, и все время жующие рты...
И ничто для меня ваша брань, ваша ругань,
Пусть звучит непристойно и грязно она,
Только будет смешно мне услышать ее.

Меняется декорация, и видения лирического героя заполняют фантазмагорические маски. Огромная процессия немощных и уродов, представляемая как ипостась человеческой греховности, катится в омут с дегтем. Довольно пространное описание этой процессии (данное в прозе), детальный показ ее уродливости не случайно сравниваются здесь с гравюрами Дюрера, Ганса Балдунга и Кранаха (я бы добавил еще имена Брейгеля, Эдварда Мунка и Густава Вигеланда). Видения фантазмагорического мира сменяются совершенно новыми ассоциациями, принесенными потоком сознания, и импульсом, вызывающим



საგვარტო
SAGVART

их, вновь становятся обязательные детали парка отдыха (прозрачность бассейна и его дно, огромное вертящееся колесо и др.).

Непрочную и искромсанную, на первый взгляд, структуру поэмы вновь объединяет вдумчивое суждение о человеческой доброте и зле, о смысле их существования. Сложнейший образ разветвленного древа жизни еще раз прошел сквозь чистилище нравственных норм и предстал в своем извечном облике, в чередовании светотеней:

Древо жизни напрасно я, видно, лепил,
Только слезы родило оно, не плоды.
Опускается сеть сновидений твоих надо мной,
Не судьба мне уйти от тебя, убежать.
Никогда мне сполна не отдать тебе дань,
Не покинуть и сердце твое, зеркала,
Нет блаженней и горше тебя из всего,
Что дано человеку за жизнь потерять.

Психологические наблюдения, отрицающие описательное, эмпирическое осознание реальной действительности, ограниченное собственной логикой, приводят к смелой и убедительной жизненной правде. Мне нравится замысел поэмы, здоровый, жизнеутверждающий импульс, единственную цель которого составляет выявление чистоты человеческих взаимоотношений и противопоставление им вездесущего «уродливого» зла; нравятся «обнаруженные» автором в результате лирических медитаций «миры» настроений. Но меня смущает обилие трансцендентных видений, описание мелочей, подавляющих эстетические стороны произведения. А целый ряд пародированных пассажей никак не удастся даже с помощью самых отдаленных ассоциаций связать с наиболее общим концептуальным смыслом поэмы. Да и сама ее формальная конструкция не до конца оставляет желаемое впечатление, так как ее «расшатывает» ритмическое чередование стиха и прозы. Но я уверен, что пора подобных смелых экспериментов сменится новыми открытиями, которые сыграют свою роль в обогащении грузинской поэтической культуры.

У некоторых современных поэтов нескончаемые вариации абстрагированных видений обусловлены слишком узким горизонтом зрения. Такая псевдопоэзия кокетливо «заигрывает» с лишенной глубинного смысла и не до конца осознанной идеей.

У Эмзара Квиташвили таким «новациям» противопоставлена поэзия самоуглубления, истинного постижения не только собственной души, но и души своего народа:

Имя? — любому, кто хочет его,
Слава? — тому, кто желает ее.
Мне же... — мне только твои сновиденья,
Мне бы лишь отблеск огня твоего.
Кипарис и пещера мои призывают
В корни вплестись, преклонясь пред тобой,
Пред тобою — гудящим солнцем и звоном,
Буком засохшим, иноком голубем...
Вервал вечно и должен я верить —

В тебя, мой Болниси, в тебя, мой Атени...¹
Видят пусть все, как тебя возвеличит
Песня моя... в слезах изойдя.



В центре внимания оказывается, в первую очередь, судьба человека и его роль на сложнейших перекрестках духовной жизни общества, переоценка этических и эстетических ценностей. Сознание как бы отвергает характерные для традиционной поэтики эффекты, максимально сужает круг, ограничивается реально видимым миром. Таким путем происходит «вживание в реальность».

Именно на эту неприукрашенную вещественность проецируется фокус зрения. Собственная субстанция рассматривается через призму «вещественного». В этой связи напомним стихотворение Эмзара Квитаишвили «Прислоненный к сараю»:

Ржавый сошник...
В цветущем саду
Ни на что я не годен,
Говорил кто про славу мою?
Где уменье хвалили мое?
Набухая от сильных дождей,
Уплывает земля из-под ног,
Должен взмокнув от пота я быть
И из глаз исторгать своих искры.
Кукуруза, покрывшись зерном,
Ростом выше меня пусть взойдет...
Ржавый сошник
У сарая стоит...
Ни на что я не годен,
Сижу в доме предков один-одинешенек.

Создание процитированного стихотворения, несомненно, связано с проблемами современности. Простая и светлая мысль здесь внутренне наэлектризована неповторимым ощущением драматизма. Из представленных в книге стихов ощутимо выявились нравственное лицо человека, думающего о многих сложных вопросах жизни. Пронизывающие строки поэта страсти, «укротенные» лирическими переживаниями, иногда предстают перед читателем в своем изначальном виде:

Когда я ощутил и понял,
Вся жизнь была с землей прощаньем,
И ничем иным быть не могла,
Не в состоянии был до ночи глаз оторвать
От освещенных солнцем сосен...

(«Когда я понял»)

Стихи этого типа с наибольшей полнотой представляют обширную и интересную картину внутреннего мира поэта. Богатство чувств и свободная фантазия, составляющие волшебный

¹ Храмы в Болниси и Атени — шедевры древнегрузинского зодчества.

фермент его души, приобретают необычную форму выражения. Очевидно, не останется незамеченным и тот факт, что особая «перегрузка» поэтического зрения проявляется в сравнительно примитивной форме. Создается впечатление, что глубина высказываемой мысли подавляет форму выражения, оказываясь довольно тяжелой для ее слабых «плеч». (Впрочем, это исключение, которое, возможно, и не следовало особо подчеркивать.) Интереснейшую мысль, легшую в основу стихотворения «Отталкивание», думается, следовало облечь в иную форму. Особенно нелогичным завершением серьезной интонации воспринимается пародированный финал:

Люди иногда свести с ума способны:
Пекутся о том, куда пальто повесить...
Будто не знают —
Что вешать нельзя ничего.

Но в данном случае речь идет об исключении, которое не ослабляет общего впечатления от сборника.

Мастерство психологического автопортрета, обнажение внутреннего, духовного мира — эталоны истинной поэзии. Всегда представлялось интересным, какими виделись художнику пути выполнения своей миссии, каковы были формы его общения с миром, собственное отношение к традиционному художественному мышлению. Нередко выяснение этих вопросов выходило за рамки чистой литературы и становилось ориентиром духовной жизни эпох. Ту же картину мы видим сегодня — поэзия увлечена поисками собственного лица. Она непрестанно ищет скрытые в себе возможности, возвращает к жизни забытые во времени важнейшие детали и, таким образом, конкретизирует отличное от всех «искусство поэзии».

Стоит ли говорить, что в непрерывной цепи художественного мышления менялись восприятие мира, формы изображения, отношение к языковому феномену с чисто эстетических позиций, а также как результат психологического модуса времени. Но и самый первый поэт, пожелавший в художественной форме высказать свою мысль, и поэты сегодняшнего дня одинаково глубоко верят в то, что явились в мир для добра и любви:

Ты стоял и хлеб в руках держал.
Самый праведный и добрый,
Какой когда-либо кто-нибудь держал.
Ты стоял и молчал, и не мог ты решиться
Так внезапно отправиться следом
За пылавшей в ночи бесконечностью...
Ты не мог в темноте этой бросить ту,
Что тебя и что хлеб твой ждала,
Не оставил бы ты, а иначе б не мог
Вслед за красной полоской идти,
Путь известных светил повторить.
Только прямо идти... и когда-то
Голубая волна охладила б
Обгоревшие, в трещинах ноги.

(«Поэт»)

И сегодня представляется уместным вспомнить слова Тома-са Элиота о том, что, если мы не располагаем живой литературой, мы, несомненно, будем испытывать растущее отчуждение от литературы прошлого; если мы не добьемся непрерывности развития, литература прошлого будет становиться для нас все более и более далекой.

Эта истина никогда не была чужда нашей литературной жизни.

Я знаю: есть один человек.
Все раны, все следы пуль
На его теле собираются,
Кисти ему ломают все кандалы,
Все черные мысли, как званые,
в его голове гнезятся.
Его тело терзают все болезни,
Нутро разрывают все подонки.

Я знаю, я знаю такого человека.
Счастье наше, что он существует.

(«Я знаю»)

У норвежского художника Густава Вигеланда есть одно поразительное полотно — на нем изображен мученик, окруженный терзающими его уродливыми бесами. Лишенный рассудка, с протянутыми к небесам руками, обреченным голосом он молит у бога прощения грехов. В целом эта искривленная фигура — один нескончаемый вопль без начала и конца; это — озвученные в одном человеке прехи человечества. Адекватом этого известного полотна и воспринимается вышеприведенное стихотворение. Кто-то должен видеть постоянно творимое зло и где-то должно оно отзываться. Этот кто-то, «тот мученик» — и есть художник, высший дар которого, по глубокому убеждению Эмзара Квитаишвили, — в сопереживании.

И поэтому его поэтический сборник «Древо жизни», побуждающий к глубоким раздумьям о бытие, о поэзии и ее назначении, стал одним из примечательных явлений в грузинской поэзии последнего десятилетия.

Юнна МОРИЦ

ТОЧНЫЙ ПЕРЕВОД? ВЕРНЫЙ ПЕРЕВОД?

(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

Многоуважаемый Нафи Джусойты!

Ваша статья «Несколько наболевших вопросов» в 11-м номере «Дружбы народов» вызвала самый сочувственный отклик у многих переводчиков, редакторов и читателей. При встрече спрашивают: «Читали? Обязательно прочтите! Он там так здорово разносит в пух и в прах!.. И правильно, нечего блистать талантом, а надо переводить скромно, что написано в подстрочнике, — и никакой отсебятины!». Но творчество — это всегда отсебятина (от себя говоришь, от себя отрываешь), ибо если творчество не глубоко лично — оно и не творчество вообще, а общее место, штамп, мертвечина.

И вот, думая о том, что пора бы мне воспеть благотворную отсебятину, воздать ей благодарность за беззаветную доблесть в битвах с громыхающим штампом и сочинить элегию или оду «В честь Отсебятины», я с большим интересом стала читать Вашу статью, которая в теоретическом смысле целиком совпала и с моими представлениями о переводе поэзии, о вдохновенном и тяжком труде, которым я занимаюсь в меру своих способностей и культурных представлений. Но в смысле практическом Ваши «наболевшие вопросы» сопровождаются в статье рядом ответов, категоричность и ценность которых в два счета опровергаются всем опытом русской классики — переводами Пушкина, Лермонтова, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматов-

вой и Заболоцкого, на которого Вы ссылаетесь в своей статье, как на переводчика, не прибегавшего к «своеволию» и «фантазированию».

Так, например, одно стихотворение Лорки в переводе Цветаевой (я нарочно не привожу название этого стихотворения, чтобы у кого-нибудь не возникло дьявольское желание считать строки и ревизовать цветаевский перевод!) выросло в три раза по сравнению с количеством строк оригинала, но это — лучший из переводов этого стихотворения Лорки. Хотя, пользуясь цитатой из Вашей статьи, можно было бы и по этому поводу сказать: «Выходит, здесь Лорка не сумел должным образом, развить свою тему и переводчики помогли ему почти втрое увеличить произведение в объеме!». Я ведь только заменила в Вашей цитате имя одного поэта на имя другого и слово «вдвое» на слово «втрое». И сразу стала явной несостоятельность Вашего упрека. Потому что, несомненно, в переводческой практике даже самых выдающихся поэтов-переводчиков бывают случаи, когда невозможно достичь верности, красоты и силы, не увеличив объема строк в переводе вдвое и даже втрое! А иногда невозможно достичь яркой творческой удачи, не сократив этот объем во столько же раз, если речь идет о языках с обильно разросшимися флексиями и усложненными, по сравнению с русскими, формами грамматических управлений. Я не говорю уже о том, что в творческих целях не только допустимы, но и просто необходимы порой также ужасные (с точки зрения пуристов и борцов за «пресечение» переводческого «своеволия») вещи, как: нарушение очередности строк и строф; замена одного зверя, птицы, рыбы, цветка, дерева — другими; включение в стихотворный текст, где есть малоизвестное географическое название, комментарий, которого нет в оригинале; и наоборот, исключение из стихотворного текста целого ряда географических названий, которые есть в оригинале; и этим далеко не исчерпывается весь арсенал переводческого «своеволия». Ведь только плохой переводчик переводит слова, строки, строфы, первую часть стихотворения, вторую и т. д. и т. п. Талантливый поэт-переводчик перевоплощает стихотворение, которое — с одной стороны — завершенное произведение искусства, а с другой стороны — фрагмент поэтической судьбы. Связать воедино эту замкнутую в себе целостность и фрагментарность могут только талант и интеллект поэта-переводчика (заметьте, Поэт возглавляет это созвездие Близнецов!), и совершенно безразлично при этом, совпадает ли по количеству строк оригинал с переводом. В случае удачи увеличение или уменьшение объема — лишь искусный исполнительский прием, такой же естественный, как замена при переводе на русский язык пословицы «Охотник узнает охотника по запаху, идущему через три чащи» пословицей «Рыбак рыбака видит издалека», если того требует стилистика перевода. Иногда же, наоборот, пословицу необходимо сохранить в оригинальном варианте, даже если она в переводе займет четыре строки вместо одной.

Я говорю об элементарных вещах, над которыми хороший переводчик даже не задумывается, потому что эти «наболевшие вопросы» давно для него решены в пользу «своеволия», и с та-

193521
191033

ними «вольностями» нельзя «покончить», потому что придется тогда покончить с переводами вообще. Так что, увеличение или уменьшение строк при поэтическом переводе совсем не свидетельствует о недобросовестности поэта-переводчика. А Вы так непростительно лихо пишете: «Аварского языка я не знаю, но считать строки и видеть пространство стиха умею». Это не творческий прием — считать строки, не читая стихов! С помощью такого «умения» Вы видите только внешнее пространство стиха, но не внутреннее, а Поэзия — она внутри, и не количеством строк исчисляется ее пространство... Да и как, вообще, можно судить об удаче или о добросовестности переводчика, окидывая «пространство стиха» таким бухгалтерским взглядом?!

Точный перевод и верный перевод — это разные вещи: точный перевод так же часто неверен, как и перевод «своевольный», а своевольный перевод — это не всегда перевод неверный, то есть плохой. Пользуясь Вашими мерками, мы должны признать «своевольными» и «пресечь» большинство русских классических переводов, без которых уже немыслима наша духовная жизнь. Если Вы сверите с подстрочниками переводы Маршака, Вы придете в ужас от его «своеволия» и «фантазирования», хотя он по сравнению с Пастернаком — просто чудом точного перевода. Я знаю людей, которые так возмутились «своеволием» Маршака и Пастернака, что взялись за дело и сами перевели все то, что «испортили» два «своевольных» поэта. И что же?! Каторжный труд кропотливых разоблачителей, их добросовестный буквализм увенчались произведениями такой переводческой мертвечины, что лишь еще ярче засверкали драгоценные грехи «своевольных».

И вот, обращаясь к Вашей высокой культуре и таланту, я хочу Вам сказать, что нельзя «покончить» с переводческими вольностями, а также нельзя взывать ни к каким административным мерам «для пресечения переводческого своеволия». «Пресечь» и «покончить» — легче всего, но как же трудно сделать хороший перевод! «Своеволие» и «фантазирование» сами по себе — не ужасы и не прекрасны, они становятся таковыми лишь в каждом конкретном случае. Со скверным своеволием может «покончить» лишь своеволие плодотворное, со скверным фантазированием — лишь творческое фантазирование, которое почему-то в похвальных случаях называется в критике творческой фантазией. А всякая иная мера приведет лишь к пресечению самого творчества и к ликованиям серости, переводящей «точно», но бездарно, то есть неверно.

По поводу перевода с грузинского Беллы Ахмадулиной, который талантливый русский поэт и переводчик Владимир Леонович назвал лучшим ее переводом, Вы пишете: «Я не согласен ни с оценкой, ни с идеей — перед нами переводческое своеволие, и амнистировать его не следует». Вы — в высшей степени образованный и культурный человек, — так откуда же у Вас такие мысли, такие слова, такие идеи по поводу беззастенчивого, вдохновенного и полного поисков переводческого труда талантливых русских поэтов Ахмадулиной, Леоновича, Цыбина, Козловского: «пресечь», «покончить», не следует «амни-

стировать»?! Белла Ахмадулина переводит все реже, а бездарная серость торжествует все чаще, и крайне редки статьи о переводческой мертвечине, о несметной продукции непётовых и непереводчиков, начисто лишенных таланта, вдохновения и боже-ства. Более того, щедро восхваляются бездарные и бездушные, порой просто ужасные переводы, вызывающие смех и отвращение у культурного читателя и к автору оригинала, и к бессовестному толмачу.

Так вот, пока такое положение дел в нашей критике сохраняется, Ваши упреки в адрес талантливых русских поэтов-переводчиков всегда будут выглядеть лишь наукообразной тенденциозностью, скопищем несправедливых придировок. Потому что в тени этой критики веселится и крепнет наш графоман и циник, радующийся тому, что громят и разносят — наконец-то! — талантливых, которые ему — как кость в горле!

И знаете, к чему это приведет в очень скором времени? К тому, что талантливые русские поэты перестанут так много переводить нашу национальную поэзию и еще больше переводов понаделают «точные», но бездарные толмачи. И тогда днем с опнем Вы не сыщете того, кто сможет воскресить всю эту «продукцию» из мертвых. Ведь даже искаженное, но живое лицо Поэзии всегда прекраснее и роднее серой дохлятины. И это — мой единственный, но достаточно сильный и благородный довод в споре с Вами, где я защищаю всей душой переводы с грузинского Беллы Ахмадулиной и Владимира Леонovichа, потому что самое расхристанное вдохновение — прекрасно, а самая добросовестная бездарность и мертвечина — ужасны. Таковы нравы Поэзии, и никакие меры не изменят их, не «пресекут» и с ними не «покончат». Вот в этом смысле Ваша статья «Несколько наиболее болезненных вопросов» вызвала у меня резкие возражения, потому что самый болезненный вопрос — не своеволие талантливых поэтов-переводчиков, а засилье бездарных непётовых-непереводчиков, начисто лишенных творческой фантазии и интеллекта, но получающих одобрение дежурной критики чаще, чем талантливые поэты-переводчики. Чаще, потому что бездарных всегда много, а талантливых всегда мало.

И грустно, что Ваш талант, продиктовавший Вам эту статью, радуется сейчас и укрепляет ряды плохих переводчиков, а также их редакторов. В литературе никак нельзя забывать древнюю народную мудрость:

«Одно дело делаешь — другое не порть!».

26 ноября
1978 года,
Москва.

Симон ЦВЕРАВА

СЕРДЦЕ ПО-КОМСОМОЛЬСКИ БЬЕТСЯ...

(ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО КОМСОМОЛЬЦА)

Мне было двенадцать лет, когда весть о существовании «Спартака» (так называлась тогда молодежная организация, затем преобразованная в комсомол), об отчаянных делах и заигнатьных выступлениях спартаковцев поразила мое детское воображение, и все, что было связано с именем Спартака, со словом «спартаковец», обрело для меня какую-то магическую силу.

Я — ученик подготовительного класса Хонской учительской семинарии — стремился как только мог приобщиться к делам спартаковцев, которых в Хони было достаточно. Да и в моей семье интерес этот только разжигали и поддерживали. Брат — спартаковец — ученик Хонского ремесленного училища, сперва секретарь ячейки «Спартака» этой школы, а затем вожак спартаковцев нашего села Карчхаби, распространитель большевистских прокламаций. Поздними вечерами в нашей семье собирались большевики — мои дядья и их товарищи. Приглушенные голоса, разговоры о гражданской войне, Советской России, упоминание не знакомых мне тогда еще имен Ленина и Сталина.

Тогда же я впервые услышал о Серго Орджоникидзе, Миа Цхакая, Филипе Махарадзе, Мамии Орахелашвили, Саше Гегечкори и других.

Однажды мы мотыжили кукурузное поле на берегу Цхенисцхали: мой дядя — большевик, брат — спартаковец и я. Вдруг далеко в горах раздался грохот. Я взглянул на гору Тур-

чу: склон ее затянуло дымом. Взрывы продолжались один за другим, и тут я заметил, что дядя и брат многозначительно переглянулись, бросили мотыги и куда-то исчезли.

Вечером, придя домой, я не застал ни дяди, ни брата. Оказывается, отряд большевиков Саши Гегечкори из Мингрелии перебрался в Имеретию, освободив от меньшевиков села Горда, Кинчха, Нога и близлежащие деревни, где уже были созданы Советы. Теперь большевики двигались в сторону Хони. На следующий день нашу школу невозможно было узнать: во дворе стояли пушки и пулеметы, ржали лошади. Все хонские большевики и комсомольцы присоединились к отряду Саши Гегечкори.

Потом заперемели пушки у моста Помпея, в ущелье Цхенисцхали. Гул пушек раздавался то у вершин горы Хвамли, мгновенно, как туманом, окутывающихся дымом, то в ущелье Риони. Оттуда он передвинулся к Мамисонскому перевалу, а затем и вовсе смолк.

Говорили, что под нажимом гвардейцев Саша Гегечкори перевел отряд на Северный Кавказ. После этого я долгое время не видел многих большевиков и комсомольцев, с которыми прежде встречался почти каждый день. А несколько позже некоторых из них я увидел во дворе большой кутаисской тюрьмы.

Среди арестованных большевиков были и мои родственники. Семьи арестованных снаряжали арбу, грузили на нее посылки, и кто-либо отвозил все это в Кутаиси. Однажды так отправили меня и мою сестру.

Трудно передать, как я волновался. Я изо всех сил хлестал хворостинной своих любимых быков. Расстояние в двадцать пять километров от Хони до Кутаиси мы одолели за три-четыре часа. На тихой безлюдной улочке близ Риони я остановил арбу, освободил быков, бросил им солому и пошел к воротам тюрьмы.

Во дворе тюрьмы толпились арестанты. Их вывели на прогулку. Среди хонских большевиков и комсомольцев я увидел своего дядю Коциа Цверава и Севериана Бахтадзе. Я сразу бросился к воротам, но охранник так оттолкнул меня, что я еле удержался на ногах.

Наконец корзина попала в арестантам. Я наблюдал, как они копались в посылке, извлекая из мамалыги записки, обменивались новостями. Вскоре нам вернули пустую корзину.

Из тюремных ворот выводили арестованного. Я узнал его — это был большевик Поликарп Бахтадзе. Протянув ему руку для приветствия, я почувствовал, как Поликарп вложил мне в ладонь скомканный клочок бумаги. Я крепко зажал его в кулаке, а затем опустил в карман старой куртки, совсем забыв, что карман этот порван. Несколько писем упали на землю. Моя сестра тут же, словно нечаянно, уронила на землю шаль и вместе с шалью подняла их.

Поликарпа Бахтадзе, оказывается, вела на очную ставку. Я поплелся за ним. Он успел шепнуть: «Передайте нашим, что скоро вернемся с победой». В это время охранник ударил ме-

ня прикладом в спину и гаркнул: убирайся, мол, а то и тебя с ним отправим. Мы быстро запрягли быков в арбу и направились в Хони.

На обратном пути я уже был ласков с быками и весело напевал, хотя вез домой всего-навсего письма...

Когда установилась Советская власть, я снова увидел на улицах Хони тех большевиков и комсомольцев, которых я встречал в кутаисской тюрьме. Тогда же мной завладела мечта рассказать когда-нибудь другим поколениям о нашей комсомольской юности. Она того стоила. Еще в Хони я слышал имена молодых комсомольских поэтов и литераторов — А. Мирцхулава, К. Каладзе, К. Лордкипанидзе, Б. Буачидзе, Ш. Радиани и других. С ними мне довелось познакомиться по приезду в Тбилиси. Моим заветным желанием было встретиться и с вождем комсомольского движения в Грузии Борисом Дзnelадзе, влияние которого на молодежь было безграничным.

Для нас, молодых писателей той поры, комсомольская жизнь была уже не мечтой, а повседневной реальностью.

Мы росли активными участниками героических событий своего времени, воспитывались на стихах Безыменского и Жарова, Уткина и Алтаузена, преисполненных комсомольской героики.

Молодежная газета «Ахалгазрда комунисти» («Молодой коммунист») сплотила в своем коллективе лучшие литературные силы начинающих тогда, а ныне уже широко известных грузинских писателей.

В декабре 1926 года по инициативе Центрального Комитета комсомола Грузии при газете «Ахалгазрда комунисти» был создан кружок комсомольских писателей. На заседаниях этого кружка мы слушали пламенные стихи А. Мирцхулава, К. Каладзе, К. Лордкипанидзе, К. Неодосишвили и других.

Разве я могу забыть номер «Ахалгазрда комунисти» от первого января 1926 года, в котором был опубликован мой первый рассказ «Сломанный мост»? Помню изумленные глаза продавца газет, у которого я купил сразу сто экземпляров этого номера газеты.

Мои первые комсомольские рассказы «Делегат», «Первое знамя», «Накануне торжества», «Несгибаемое сердце» и многие другие были напечатаны на страницах этой газеты.

Здесь же были опубликованы многие интересные статьи Б. Буачидзе, Ш. Радиани, В. Луарсамидзе, А. Сулава, Д. Рондели, Г. Джибладзе, Е. Карелишвили, Г. Натрошвили, Д. Бенашвили и других.

Кружок комсомольских писателей с каждым днем расширял сферу своей деятельности. Вскоре он стал в Грузии средоточием молодых литературных сил. С 1928 года до конца 1931 года мне самому довелось руководить этим кружком. Активную помощь оказывали мне Д. Рондели, В. Луарсамидзе, А. Сулава, Г. Качахидзе, И. Хоштария и Д. Вольский (редактор газеты). В кружке были объединены тридцать комсомольских писателей. В месяц два раза мы выпускали литературную страницу под названием «Комсомольская литература».

Кроме творческих вопросов, особое внимание уделялось политической и теоретической подготовке членов кружка. С этой целью молодые писатели были вовлечены в семинары при Ассоциации пролетарских писателей Грузии, изучающих исторический материализм, ленинизм, пятилетний план, историю и теорию литературы. Мы слушали доклады С. Амаглобели, А. Дудучава, К. Горделадзе, В. Купрадзе, Б. Буачидзе, Ш. Радиани, Д. Рондели и других.

Кружок комсомольских писателей оказывал помощь литературным кружкам Кутаиси, Батуми, Сухуми, Сталинири, Поты, Гори, Телави и целому ряду других районов. Кроме поэтов и писателей первого комсомольского поколения, на литературных страницах печатались произведения К. Бобохидзе, А. Адамиа, И. Хоштария, Б. Чхеидзе, А. Чачибая, М. Гвасалия и других.

Словно вчерашний день, вспоминается, как получали первое крещение в кружке комсомольских писателей стихи И. Абашидзе, Г. Качахидзе, А. Гомнашвили, Г. Шатберашвили и других, помню идейную остроту первых статей А. Сулава, Г. Натрошвили, Д. Бенашвили.

Вот передо мной лежит литературная страница на двух полосах газеты «Ахалгазрда комунисти» от 1 декабря 1928 г., и, несмотря на прошедшие годы, она дышит пламенем тех комсомольских лет. Здесь стихотворение «Старый кирпичный завод» И. Абашидзе, «Сатирическое» Г. Качахидзе, «Стихи о любви» К. Бобохидзе, «Непр Бен» И. Хоштария, «Беседа рабочих» Л. Чичинадзе, «У берега Цхенисцхали» Д. Шаматава, мой рассказ «Несгибаемое сердце», статья В. Луарсамидзе «Заметки о комсомольской литературе» и много других материалов.

Как бы не одолевали нас годы, сердце моего поколения все еще бьется по-комсомольски. Я и сегодня с гордостью повторяю строки стихотворения первого комсомольского поэта Алио Мирцхулава:

**Снова гремит стихов барабан,
Бодро дробь раздается,
Хоть появилась уже седина,
Сердце по-комсомольски бьется.**



Известный грузинский астроном Георгий Тевзадзе уже несколько лет изучает вопросы руставелевской космологии. Публикуемой ниже статье, ранее напечатанной в журнале «Гантиади», предшествовало шесть его работ, помещенных там же. Строгость методологии и новизна выводов, содержащихся в них, вызвали большой интерес руставелологов.

Как доказывает автор, «Вепхисткаосани» содержит совершенно уникальные в истории средневековой науки сведения о законах движения астральных тел, о строении Вселенной. Эти данные на несколько веков опережают весьма значительные открытия, которые впоследствии были связаны с именами гениального астронома Тихо де Браге и других.

Если это так, то благодаря данной статье в историю науки о небесных телах впишется примечательная страница, связанная с дорогим для нас именем Шота Руставели.

Георгий ТЕВЗАДЗЕ

КОСМОЛОГИЯ РУСТАВЕЛИ

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

В начале исследования и изучения астральных явлений, которые представлены в «Витязе в тигровой шкуре», мы считали, что они, существуя реально, в поэме использованы лишь для создания поэтической картины и лишены логической связи, что описанное с поразительным поэтическим вдохновением то или иное явление природы было подобрано и расположено здесь лишь в соответствии с требованиями сюжетного построения.

Такого мнения придерживаются многие старые и современные исследователи «Вепхисткаосани», убежденные в том, что в поэме не могут содержаться сведения о какой-либо научной теории или научном трактате. Однако детальное исследование описанных Руставели астральных явлений позволило сделать выводы, противоположные такому соображению. Как выясняется, подбор для использования в сочинении небесных явлений отнюдь не случаен, и они служат не только средством

для достижения чисто поэтических целей. Последовательность расположения астральных явлений здесь такова, что позволяет судить о представлениях поэта относительно отдельных частей Вселенной, о ее структуре в целом. Видимо, у Руставели были совершенно отличные от общепринятой и распространенной в ту эпоху теории оригинальные и вместе с тем весьма прогрессивные космологические взгляды. Они переданы в такой стройной системе и так выразительно, что дают возможность ясно увидеть не только общую картину руставелевской Вселенной, но и досконально обсуждать детали и особенности той ее модели, которую создает автор «Вепхисткаосани». О том, как представлена в поэме модель одной из частей Вселенной — Солнечной системы, уже говорилось в отдельных моих статьях. Для воссоздания единой картины этой системы в настоящее время представляется целесообразным вспомнить выводы, содержащиеся в этих работах.

В статье I речь идет о том, что, по «Витязю в тигровой шкуре», Луна совершает вокруг Земли орбитальное движение, в результате которого возникают ее фазы. В поэме указано, что перемещение Луны в пространстве отличается от годового движения планет. Его не характеризует «стояние», обратное движение. Луна всегда продолжает двигаться вперед в одном и том же направлении и на полное обращение вокруг Земли тратит один месяц. Вместе с тем путь Луны среди звезд пролегает в тех же окрестностях межзвездного неба, где и путь годового перемещения Солнца. Заметим, что данные в «Витязе в тигровой шкуре» объяснения-характеристики явлений, создаваемых движением Луны, соответствуют нашим современным представлениям.

II статья знакомит читателя с сегодняшними объяснениями явлений, вызываемых планетами в результате их видимого пространственного перемещения: «стояния», «прямого хода» или «обратного движения». Соответствующие фразы, данные в «Витязе в тигровой шкуре», со всей ясностью говорят о том, насколько правильно и глубоко понимает поэт суть этих явлений, а также как искусно использует для создания образов характерные для образуемых орбитальным движением планет видимые криволинейные, петлеобразные пути. Столь же отчетливо можно проследить здесь и то различие, которое действительно существует между формами «описываемых» путей видимых собственных движений по небу Солнца, Луны и планет.

Далее разбирается вопрос о том, какое тело, по «Вепхисткаосани», принято за центр мироздания — Земля или Солнце? (Условно будем считать, что Руставели под словом «мироздание» подразумевает огромный шар звездного неба и находящиеся в нем Землю с Солнцем, Луной и планетами). С этой целью изучался представленный в поэме путь Солнца и Луны, наподобие ему движущейся между звездами, а также особенности их перемещения. Выяснилось, что, согласно Руставели, Луна совершает вращательное движение вокруг Земли, пройдя двенадцать созвездий Зодиака, плотно расположенных одно за другим и создающих на небе замкнутый круговой пояс вокруг Земли.

И Солнце также, как видно из поэмы, пройдя все созвездия Зодиака, описывает полный оборот вокруг Земли. Следовательно, и оно, наподобие Луны, обращается вокруг Земли, а последняя находится в центре круговых орбит этих небесных тел.

А как известно, геоцентрическая система подразумевает орбитальное движение Солнца, Луны и планет вокруг Земли; по гелиоцентрической же теории и сама Земля также представляет собой планету, которая, подобно другим планетам, обращается вокруг Солнца. Таким образом, гелиоцентрическая теория отличается от геоцентрической прежде всего тем, что, согласно первой из них, на месте Земли размещено Солнце, вокруг которого вместе с другими планетами обращается и Земля. Отсюда следует, что автор «Витязя в тигровой шкуре» — геоцентрист.

В этой же статье показано, как представлено в поэме орбитальное, т. е. собственное, движение внутренних планет — Меркурия и Венеры.

Здесь исследования привели нас к заключению, что, по мысли Руставели, Меркурий и Венера действительно обращаются вокруг Солнца и именно оно, это огромное небесное тело, стоит в центре круговых орбит планет.

Таким образом, исходя из «Вепхисткаосани», Солнце обращается вокруг Земли, а Меркурий и Венера — вокруг Солнца. Значит, эти две планеты — спутники Солнца — вместе с ним совершают оборотное движение вокруг Земли.

Там же разъяснены особенности общепринятой в эпоху Руставели птолемеевской системы устройства Вселенной и ее основные положения. Порядок деферентно-эпициклического движения данных в этой системе небесных тел мы сравнили с теми представлениями о движении планет, которые выражены в поэме. Такое сравнение со всей очевидностью свидетельствует о том, что созданная Руставели картина движения планет отрицает порядок эпициклического движения и, в отличие от него, соответствует принятому ныне представлению об обращении планет вокруг Солнца.

В III статье устанавливается вытекающая из «Вепхисткаосани» последовательность расположения светил в пространстве, что является одной из основных задач выработки устройства Солнечной системы, ее модели.

Как отмечалось во II статье, по мнению Руставели, Солнце обращается вокруг Земли, Меркурий и Венера — вокруг Солнца.

В результате всестороннего рассмотрения создаваемой подобным движением картины мы пришли к заключению, что в «Витязе в тигровой шкуре» пространственное расположение первых четырех светил при их максимальном отдалении от Земли по увеличению расстояний следующее:

1. Луна,
2. Солнце,
3. Меркурий,
4. Венера.

В ходе исследования этого вопроса нами был использован также реально существующий и общепринятый в ту эпоху закон эффекта относительных скоростей.

Сообразуясь с этим законом, мы пришли к выводу, что в

поэме принята следующая последовательность расположения трех верхних планет: Марс, Юпитер, Сатурн.

Итак, по «Витязю в тигровой шкуре», порядок семи светил, который мы обозначаем буквой «Р», представлен в следующем виде: 1. Луна, 2. Солнце, 3. Меркурий (Отариди), 4. Венера (Аспирози), 5. Марс (Марихи), 6. Юпитер (Муштари), 7. Сатурн (Зуали)... (Р).

Такая последовательность планет в корне отличается от порядка, принятого в геоцентрической системе Птолемея.

Отображению этого нового, оригинального порядка Руставели должен был отвести в своей поэме соответствующее место.

Указанная очередность планет приведена в мольбе Автандила, обращенной к семи светилам. Именно здесь дана астрологическая и астрономическая характеристика семи светил, выполненная с поразительным поэтическим мастерством. Вместе с тем осуществлен последовательный перечень планет по двум следующим законам:

а) последовательное название, порядок светил должны подчиняться проявлению в суточном обращении планет закона эффекта относительной скорости;

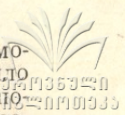
б) сцена возношения мольбы должна быть реальной — иными словами, когда Автандил обращается к какому-либо определенному светилу, оно действительно должно находиться в данное время на небе так, чтобы его в самом деле можно было увидеть.

И Автандил, обращаясь со своей мольбой к семи светилам, строго соблюдает эти два закона. Выяснилось, что в мольбе названы все известные в те времена небесные тела, существующие в звездной сфере, включая Землю, и вся Солнечная система. Стало также очевидным, что последовательное название планет в поэме действительно осуществлено по порядку «Р». А это еще раз подтверждает, что в «Витязе в тигровой шкуре» последовательность планет представлена по порядку «Р».

В IV статье рассмотрены вопросы влияния Солнца на небесные тела и его собственного движения.

Видимое перемещение Солнца в поэме признается реальным явлением. Поэт описывает особенности перемещения Солнца по эклиптике и подчеркивает значение равноденствия и солнцестояния. Вместе с тем он показывает способность Солнца переходить, непрерывно двигаясь вперед и всегда в одном направлении, из одного созвездия Зодиака в другое.

Значит, по «Витязю в тигровой шкуре», Солнце последовательно, однако медленнее, чем Луна, перемещается из одного созвездия в другое и в течение года проходит таким образом весь пояс Зодиака, описывая полный оборот вокруг Земли. Детально воспроизводя видимое движение Солнца, поэт тем самым утверждает, что его орбитальное движение существует в действительности, но в то же время замечает, что ему не известна причина, вызывающая это движение, иными словами, неизвестно, какая существует во Вселенной сила, придающая Солнцу и Луне это видимое собственное движение.



Здесь перед поэтом возникает сложнейшая задача взаимоотношения Солнца и Земли, решить которую в ту эпоху было невозможно, ибо оставались еще не открытыми явления, средством которых можно было бы ответить на данный вопрос. Естественно потому, что эта проблема оставалась в поэме неразрешенной.

Солнце названо в «Вепхисткаосани» «лучшим» светилom среди небесных тел. Ему отведено среди них первое место, как первейшему по величине, безграничности энергии тепла и света, всемогуществу существующей в нем силы.

Подразумевается наличие в Солнце такой мощной силы, благодаря которой оно покоряет каждое небесное светило и безраздельно им управляет.

В статье заострено внимание на следующем обстоятельстве: поэт не удовлетворяется признанием существования этой силы Солнца—он описывает ее свойства и особенности проявления, представляемые в следующем виде:

1. Солнечная сила обладает способностью распространяться до края Вселенной.
2. Она постоянно, непрерывно действительна.
3. Обладает силой притяжения.
4. Величина действия солнечной силы на светила зависит от расстояния между ними и Солнцем.
5. Эта сила является свойством не только Солнца. Подобной силой наделено каждое небесное тело соответственной величины.
6. Величина солнечной силы гораздо больше той, которыми обладают другие светила.

Все названные свойства солнечной силы — ничто иное, как реально существующая в природе и сегодня общеизвестная сила гравитации.

В V статье дано объяснение, согласно интерпретации, данной в поэме, движению верхних планет — Марса, Юпитера и Сатурна. Для этого сначала устанавливается, на какую область пространства, на какой его участок распространяется «над властью власть» Солнца. Оказывается, что, по произведению, «над властью властью» Солнца распространяется на ту часть пространства, которую занимает в бескрайней Вселенной мир. Одновременно устанавливается, что эта власть распространяется не на все существующие в мире тела. Телами, которые не подчиняются солнечной силе, признаны Земля и Луна. Следовательно, действие солнечной силы замечается на звездах и планетах.

Ее влияние на звезды выражается в том, что Солнце обещивает им неподвижность нахождения на небе; в результате расположение звезд, созданные им конфигурации с течением времени не изменяются, и, таким образом, эта грандиозная картина неба вечна. Итак, судя по поэме, причиной подобной неизменности неба является Солнце.

На планеты «над властью властью» Солнца распространяется в соответствии со всеми свойствами этой силы. Так как по «Вепхисткаосани» всякое собственное движение планет происходит под влиянием солнечной силы, в статье показано, что,

наподобие нижним планетам, верхние (Марс, Юпитер, Сатурн) тоже обращаются вокруг Солнца. Итак, окончательно установлено, что, по представлению Руставели, в центре орбиты известных в ту эпоху пяти планет находится Солнце и эти планеты равномерно по кругу обращаются вокруг него.

В VI статье выясняется, как представлено в поэме второе, суточное движение небесных тел. Это — один из основных вопросов модели «мира», созданной Руставели.

Анализ соответствующих строф поэмы убеждает нас в том, что суточное движение светил Руставели представляет себе с аристотелевской точки зрения.

Как отмечается в этой статье, Аристотель, опираясь на взгляды предшествовавших ему ученых, планеты, Солнце и Луну расположил на материально существующих небесных шарах и тем самым отвел каждому светилу свой собственный шар. По его мнению, к самому большому шару прикреплены были звезды. Движение начиналось с шара этих звезд, и концентрически уложенные в нем остальные шары совершали свое обращение под его влиянием.

В общем центре шаров неподвижно помещалась Земля, вокруг которой и обращались эти якобы реально существующие материальные шары на разных скоростях.

Как известно, для объяснения суточного движения светил эта теория Аристотеля, несмотря на заключенные в ней несоответствия, просуществовала без изменений почти до XVII века.

У Руставели же было следующее представление об устройстве Вселенной:

1. В центре шара звездного неба неподвижно находится Земля.

2. Светила совершают круговое движение.

3. Каждое небесное тело движется равномерно.

4. Собственное движение планет совершается под воздействием солнечной силы.

5. Преимущество среди планет отдается Солнцу. Его сила, по сравнению с другими небесными телами, гораздо больше, и она проявляет следующие свойства: обращает планеты вокруг Солнца, чье влияние на светила — постоянно; величина силы зависит от расстояния между Солнцем и планетами; она обладает способностью притяжения и допредельного распространения.

Построенная Руставели на этом основании структура солнечной системы представляется в следующем виде:

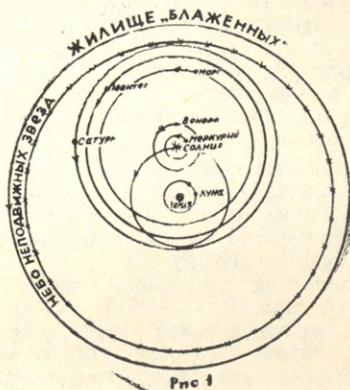
Солнечная система ограждена сферой огромного звездного неба, в центре ее — неподвижная Земля, вокруг которой собственное орбитальное движение после Луны совершает Солнце, а вокруг самого Солнца обращаются пять планет.

Светила при их максимальной отдаленности от Земли, в зависимости от расстояния, расположены в порядке «Р».

Каждое небесное тело посредством своих материальных сфер раз в сутки совершает полный оборот вокруг Земли.

Таким образом, в этой системе даны два центра. Первый центр сферы звездного неба — Земля, второй — обращающееся вокруг него Солнце, являющееся центром кругового орби-

тального движения планет. Эту модель солнечной системы сегодня называют гео-гелиоцентрической¹. Так как она представляет собой сочетание систем геоцентрической и гелиоцентрической, то считается переходящей из первой системы во вторую.



Гео-гелиоцентрическая система Шота Руставели, XII век.

Чтобы охарактеризовать гео-гелиоцентрическую систему Руставели, попытаемся передать вкратце все существующие — с античной эпохи до XVII века — достойные внимания теории строения Вселенной.

Значительную лепту в дело изучения неба внес великий мыслитель античных веков Платон (429—348 гг. до н. э.), частично опиравшийся на учение Пифагора. Согласно его представлениям, планеты и звезды обращались посредством восьми небесных колес, общая ось движения которых проходила через центр Земли. Колеса эти настолько плотно сидели одно в другом, что как бы составляли одно цельное тело. С помощью колеса самого большого диаметра обращалось звездное небо; с этим обращением были связаны расположенные внутри него остальные семь колес, которые двигались сравнительно медленно и в направлении, противоположном обращению звездного неба.

Примечательно, что эти небесные колеса, в центре которых Платон поместил Землю, он расположил по мере роста диаметра следующим образом: первое — колесо Луны, второе — Солнца, третье — Меркурия, четвертое — Венеры, пятое — Марса, шестое — Юпитера и седьмое — Сатурна.

Первым из ученых древнейших веков чрезвычайно сложное и беспорядочное движение планет объяснил комбинацией равномерных круговых движений Эвдокс (406—356 гг. до н. э.). Он, как и его предшественники, разместил звезды в са-

¹Г. Гурев. Системы мира. М., 1950, с. 180.

мой большой небесной сфере. Звездная сфера совершала в сутки один полный оборот вокруг Земли. Для объяснения же движения других светил Эвдокс ввел такую систему сфер, где в их общем центре помещалась опять-таки Земля; она и приводила в движение эти сферы. Созданная Эвдоксом система строения Вселенной состояла из двадцати семи небесных сфер. Систему Эвдокса улучшил выдающийся математик Калипис (прибл. 334 г. до н. э.), который, исходя из астрономических наблюдений тех времен, ввел для объяснения новых отклонений, замеченных в движении планет, дополнительно еще семь сфер. Таким образом, число небесных сфер в системе строения Вселенной выросло до тридцати четырех.

От этих теорий отличалась теория Аристотеля (384 — 322 гг. до н. э.), взявшего исходную систему Эвдокса и Калиписа; однако в отличие от них, как мы уже отмечали, планеты, в том числе Солнце и Луну, он поместил на существующую материально прозрачную сферу.

Позднее астрологическую мысль значительно освежил и обогатил Гиппарх (прибл. 190—125 гг. до н. э.), занимавший среди астрономов античных веков наиболее выдающееся место. Для объяснения неравномерности орбитального движения Солнца и Луны Гиппарх вместо системы сфер ввел так называемые эксцентрические круги, т. е. допустил, что Солнце и Луна с одинаковой скоростью движутся по своим круговым орбитам, но Землю поместил в точке, отдаленной в некоторой степени от геометрического центра этих кругов. Тем самым Гиппарх сохранил общепринятый в те времена порядок кругового и равномерного движения небесных светил и вместе с тем сумел объяснить неравномерность движения Солнца и Луны. Что же касается планет, то он вообще не стал рассматривать их движения, так как счел материал, собранный к тому времени наблюдениями, недостаточным.

Наряду с учеными-геоцентристами уже в древние времена были и другие, высказывавшие диаметрально противоположные этой теории, совершенно иные — гелиоцентрические взгляды о Вселенной. В их числе следует, в частности, упомянуть Филолаоса (500 — 400 гг. до н. э.), Аристарха (310 — 230 гг. до н. э.) и других. О них речь пойдет ниже.

Позднее Птолемей (прибл. 160 г. н. э.) окончательно отшлифовал вышеназванные геоцентрические теории о строении Вселенной, уточнил и дал их геометрически строго сформулированную теорию.

Как мы отмечали во II статье, согласно теории Птолемея, Солнце вращается вокруг Земли, остальные же светила, Луна и планеты непосредственно вокруг Земли не обращаются, а равномерно движутся вокруг некой фиктивной точки по окружности с малым радиусом, которую он назвал эпициклом (рис. 2). Геометрический же центр этой малой окружности равномерным движением описывает вокруг Земли большую окружность — так называемый деферент. По Птолемею, от находящейся неподвижно в центре Вселенной Земли светила расположены по росту расстояния в следующем порядке (обозначаем буквой «П»):

1. Луна, 2. Меркурий, 3. Венера, 4. Солнце, 5. Марс,
6. Юпитер, 7. Сатурн (П).

Однако Птолемей не мог объяснить, почему он принял именно такой порядок пространственного расположения светил, лишь замечал, что подобный порядок принимался учеными — его предшественниками.

Не мог Птолемей ответить также на вопрос, по какой причине должны были двигаться планеты по этим фантастическим эпициклам вокруг каких-то вымышленных точек, что их к этому вынуждало.

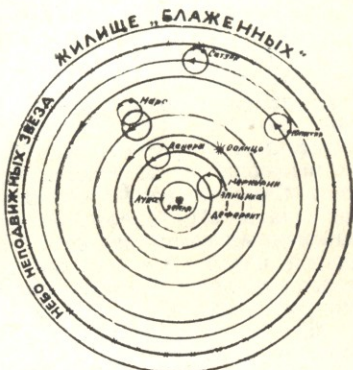


Рис. 2

Геоцентрическая система Птолемея, II век н. э.

На протяжении веков не могли найти ответа на данный вопрос и многочисленные последователи теории Птолемея.

Несмотря на то, что геоцентрическая система Птолемея — не говоря уже о вышеназванном уязвимом месте — неверна в самой своей основе, она почти до XVII века была общепризнанной, считалась единственной истинной теорией.

Объяснение столь длительного господства геоцентрической системы заключается в следующем: Птолемей сумел таким образом подобрать величину радиусов эпициклов, что это дало возможность составить астрономические таблицы, позволявшие заранее вычислять ожидаемое расположение светил на протяжении веков.

На первых порах расхождение между настоящим и заранее вычисленным расположением Луны действительно не превышало 10 секунд дуги. Подобное предсказание в ту эпоху было поистине поразительным и поэтому служило наглядным доказательством верности этой теории.

С другой стороны, ее распространению во многом способствовало то обстоятельство, что она полностью соответствовала библейским представлениям о строении Вселенной; в силу всего этого геоцентрическая система Птолемея, как мы уже не раз отмечали, была общепризнанной, и на протяжении пятнадца-

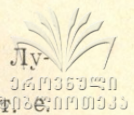
ти веков другой теории в истории астрономии не фиксировалось. Однако со временем выяснилось, что в действительности светила значительно отдалены от тех точек неба, которые предсказывались таблицами Птолемея, и это потребовало проверки и серьезных исправлений в них.

Вместе с ростом техники наблюдения светил в их движении выявлялось все больше новых неточностей. Целый ряд их установили посредством многочисленных и предельно точных астрономических наблюдений арабские астрономы. Однако каждый из них старался устранить замеченные в системе Птолемея неточности путем добавления все новых и новых эпициклов; подобные исправления значительно усложнили эту систему строения Вселенной. Тем не менее на протяжении веков среди многочисленных известных арабских и других знаменитых ученых астрономов не нашлось ни одного, кто бы в корне пересмотрел систему Птолемея и создал вместо нее иную модель строения Вселенной.

Известный историк А. Бери, описывающий в своей книге деятельность всех выдающихся астрономов со II по XV век, в том числе создателя Самаркандской обсерватории Улуг-Бега (1420—1449), заключает: «Ни одному из арабских и других астрономов, перечисленных нами, мы не обязаны какой-нибудь крупной оригинальной идеей. Все они зато обладали замечательной способностью усваивать чужие мысли и давать им, хотя и небольшое, дальнейшее развитие» (А. Бери. Краткая история астрономии. М., 1946, с. 80).

Такое же положение господствовало в мире к моменту, когда Коперник приступил к созданию своей гениальной гелиоцентрической теории. Артур Бери пишет: «Коперник сообщает, что его давно поражала неудовлетворительность общепринятых объяснений астрономических движений и что, отыскивая в философских сочинениях лучшее объяснение, он наткнулся на сообщение Цицерона о мнении Тихетаса (V в. до н. э.), по которому Земля вращается суточным движением вокруг своей оси. Подобные же взгляды он нашел и у других пифагорейцев, а Филолай утверждал, что Земля движется вокруг центрального огня» (там же, с. 95).

Такое представление о движении Земли, даже в его примитивной форме, стало для Коперника идеей, исполненной здравого смысла, и всю свою долгую жизнь он посвятил ее исследованию и развитию. Коперник тщательно изучил все известное в те времена о небесных светилах. На основании анализа накопленных веками материалов и данных бесчисленных собственных астрономических наблюдений он убедился, что видимое перемещение светил — иллюзорно и реально оно не существует. Коперник показал, что это кажущееся перемещение светил является в основном результатом движения Земли. Он представил движение планет вокруг Солнца и допустил, что Солнце — неподвижное центральное тело, а Земля обыкновенное небесное тело, которое по росту расстояния от Солнца занимает третье место. Им выработан следующий порядок расположения светил по росту расстояний (обозначим его буквой «К»):



1. Меркурий, 2. Венера, 3. Земля со своим спутником Луной, 4. Марс, 5. Юпитер, 6. Сатурн (К).

Однако для полной характеристики движения планет, с целью объяснить множество неточностей, замеченных в движении небесных тел, Копернику все-таки понадобилось сохранить птолемеевский порядок эпициклического движения. Для каждого тела он выработал довольно сложную эпициклическую систему. Чтобы описать движение Луны, ввел 4 эпицикла: Земли—3, Меркурия—7 и по 5 — для каждой из остальных планет. Общая сумма этих эпициклов меньше числа тех, которые были приняты в существующей тогда системе Птолемея, но тем не менее достаточна велика.

Сохранение эпициклической системы в новом — гелиоцентрическом представлении об устройстве Вселенной было одним из основных недостатков теории Коперника.

Новизна гелиоцентрической системы требовала детального изучения и исследования движения светил и вызывающих его причин. Коперник не сумел со всей строгостью доказать справедливость своих открытий (этого не позволял низкий в те времена уровень знаний законов движения тел и механики), но его учение направило развитие астрономии в совершенно новое русло.

Спустя три года после смерти Коперника, в 1546 году, родился Тихо де Браге, сыгравший большую роль в дальнейшем развитии астрономической науки. Ученому понадобился очень короткий срок, чтобы прославиться. Король Дании Фридрих II пожаловал ему, как знаменитому астроному, остров Вен (в 22 км от Копенгагена), где на средства монарха была возведена величайшая и красивейшая по тем временам астрономическая обсерватория Ураниборг (Небесный храм).

В этой сказочной по богатству росписи и оборудованию обсерватории Тихо де Браге работал в продолжение 20 лет днем и ночью. Он настолько усовершенствовал приборы и методы наблюдения светил, что полученные им результаты резко отличались по своей точности от всех производимых прежде наблюдений. Тихо де Браге лучше, чем кто-либо из его предшественников - астрономов, понимал значение систематичности наблюдений и их высокой точности в деле изучения движения небесных тел. Он составил каталог звезд, равно которому по точности прежде не существовало.

В результате напряженного и рационально организованного научного труда, многолетних наблюдений им был накоплен богатейший материал, явившийся тем золотым фондом, который лег в основу открытия кинематических законов Кеплера и динамических Ньютона, именно на этой почве возникла подлинно новая, современная астрономия. Множество наблюдений, осуществленных Тихо де Браге, окончательно убедили его в том, что будущие расположения светил, вычисленные на основании системы Птолемея, не совпали с теми — истинными, которые получаются в результате непосредственного наблюдения за ними. А это являлось уже достоверным фактом, говорящим о беспочвенности самой сути всей птолемеевской теории.

После выявления несостоятельности системы Птолемея: ученому предстояло создать более совершенную модель строения Вселенной или разработать и получить уже существовавшую тогда гениальную гелиоцентрическую систему Коперника. Но на 50-м году после создания этих новых представлений об устройстве Вселенной Тихо де Браге усомнился в правильности теории Коперника и выступил против идей движения Земли. Он считал, что Земля — большое и тяжелое тело, движение которого незаметно и трудно представимо для нас.

Действительно, концепция движения Земли не так проста, как кажется сегодня, когда она стала привычным представлением. Современный человек с самого детства свыкается с мыслью о движении Земли. Однако приобретенное подобным образом убеждение не имеет особой ценности — лишь познавая силу нашего разума сущность явления, можно во всей полноте ощутить величие такого открытия.

Способен ли каждый из нас наглядно представить себе Землю, с покрывающими ее лесами и полями, морями и океанами, городами и селами, огромными просторами Азии, Африки и других континентов, безмерно тяжелую и окруженную воздухом, мчащейся со скоростью, которая в 30 раз выше скорости полета винтовочной пули, к тому же вертящейся волчком. Сделать это тем более трудно, что, участвуя в этом движении, человек совершенно не замечает его поразительной стремительности.

Мысль о движении Земли оказалась для Тихо де Браге неприемлемой. В противовес доктрине о движении Земли он выдвинул следующие основные соображения:

1. Непонятно, почему же в случае, если Земля вращается, упавшее с башни ядро падает у ее подножия.

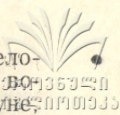
Сейчас нам известно, что упавшее с башни ядро приземлится чуть впереди от опущенного на ее основание перпендикуляра, так как из-за суточного вращения Земли вершина башни движется быстрее этого основания.

Вообще же движение свободно падающего тела в направлении вертикальной линии мы видим только по той причине, что и сами участвуем во всяком движении Земли.

Приведем такой пример. Допустим, в вагоне равномерно и прямолинейно движущегося поезда человек выронил камень. Находящиеся там же наблюдатели скажут, что камень упал на пол по вертикали. Но если это явление увидит человек, находящийся вне вагона, на земле, он заметит, что камень движется не по линии, а криволинейно. Причина этого явления заключается в следующем: за тот короткий интервал времени, который понадобился камню на падение, вагон успел несколько переместиться вперед.

Представим, что с башни высотой в 100 метров свободно падает ядро. Мы увидим, что наподобие камня в вагоне ядро тоже движется по вертикальной линии. Это потому, что во всяком движении Земли участвуем и мы.

Теперь предположим, что мы наблюдаем за падением ядра не с Земли, а с Луны, которая вместе с Землей обращается



вокруг Солнца; вследствие этого находящийся на Луне человек также движется вокруг Солнца, но в обращении Земли вокруг оси он уже не участвует. Человек, находящийся на Луне, наблюдая за падающим с высокой башни ядром, увидит, что оно совершает движение двух видов: одно — по вертикали вниз и второе — по касательной к поверхности Земли, на восток. Оба этих одновременных движения складываются в соответствии с правилами механики, и так как падение — неравномерно, а Земля вращается с одинаковой скоростью, то в итоге движение покажется криволинейным. Значит, для находящегося на Земле наблюдателя падение ядра, как и упавшего камня для находящегося в движущемся вагоне человека, видится по вертикальной. Тому же, кто смотрит на это с Луны, как и находящемуся вне вагона наблюдателю, этот путь падения ядра с башни кажется искривленным.

Ввиду низкого уровня развития тогдашней механики Тихо де Браге не мог объяснить это явление подобным образом. Он считал, что если Земля вращается, то упавшее с высокой башни ядро должно очутиться не у ее подножия, а довольно далеко к востоку. Но поскольку это происходит не так, значит, по его мнению, Земля не может вращаться вокруг своей оси.

2. Непонятно, почему ось вращения Земли остается параллельной себе, когда она обращается вокруг Солнца.

Дать полный ответ на этот вопрос стало возможным лишь после того, как был открыт закон всемирного тяготения, с помощью которого удалось окончательно доказать, что Земля описывает вокруг Солнца эллипс, в одном из его фокусов находится Солнце, а ось Земли наклонена под постоянным углом к плоскости эклиптики и движется параллельно себе.

3. Если Земля и вправду обращается вокруг Солнца, то на небе должно замечаться вызванное этим движением перемещение звезд. На самом же деле, подобное, мол, не наблюдается.

Действительно, во время обращения Земли по орбите вокруг Солнца при ее переходе из данной точки в противоположную должно образоваться перспективное перемещение неподвижных звезд. Чтобы объяснить это явление, рассмотрим рис. 3.

Когда Земля находится в точке А, неподвижно расположенная в точке С звезда для наблюдателя должна проектироваться в точку С, а когда она займет на своей орбите точку В, та же звезда должна показаться на небе в точке С₂. Этот АСВ угол видимого перемещения одной и той же звезды обязательно должен существовать и наблюдение его тоже должно быть возможным. Этот угол будет тем больше, чем ближе расположение С звезды; если же перенести С на бесконечно далекое от нас расстояние, то этот угол уменьшится настолько, что расстояние АВ, по отношению к бесконечности, превратится в точку, а потому и угол АСВ станет незаметным для глаза, полностью исчезнет для далеких звезд.

Несмотря на поразительную точность данных, полученных благодаря своей методике и новым приборам, Тихо де Браге

не сумел открыть при звездах угол АСВ. Он полагал, что если теория Коперника верна, то подобные углы должны существовать при звездах. Однако ни он, ни его предшественники не смогли обнаружить такого явления, и поэтому ученый должен был думать: звезды столь далеки от нас, что даже орбита Земли будет выглядеть с них точкой.

Тихо де Браге вычислил, насколько должны быть отдалены те звезды, с которых орбита Земли показалась бы равной одной десятой диска Луны. Выяснилось, что расстояние до

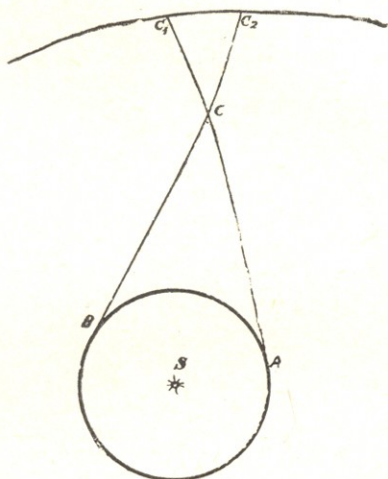


Рис. 3

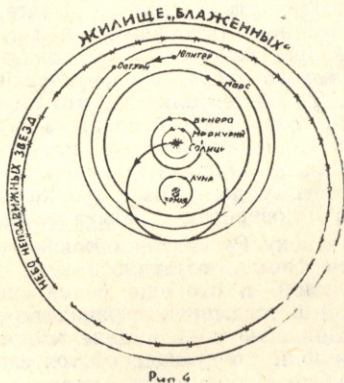
звезд должно минимум в 100 раз превышать расстояние до самой далекой планеты — Сатурна. Существование же между сферой звезд и Сатурном пустого пространства столь огромной протяженности считалось в ту пору совершенно невозможным. Дело в том, что еще со времени Аристотеля в науке бытовала мысль: природа не оставляет пространства пустым, во Вселенной пустоты нет.

Положение это существовало на правах аксиомы. Поэтому подобное допущение — звезды находятся в 100 раз дальше — было для него неприемлемым и недоступным. На самом же деле звезды отдалены от Солнечной системы на огромные расстояния. Сегодня хорошо известно, что самая близлежащая звезда в двести шестьдесят тысяч раз дальше от нас, чем Солнце, и величина угла АСВ при ней не превышает десятой доли дуговой секунды. Заметить угол такой микроскопической величины ученые смогли лишь тогда, когда были созданы оптические астрономические приборы. Этот угол астрономы открыли спустя два века после смерти Тихо де Браге, в 1838 году. На основании этого открытия впервые было непосредственно, гео-

метрически измерено расстояние до некоторых ближних звезд и научно доказана доктрина Коперника о движении Земли.

Таким образом, ни Тихо де Браге, ни его предшественники не могли правильно объяснить описанные выше явления, и потому использовали их для опровержения теории Коперника. В результате, несмотря на преимущество системы Коперника перед теорией Птолемея, Тихо де Браге был вынужден отвергать возможность движения Земли. По его предположениям, Коперник принял свою гелиоцентрическую систему, как лучшую кинематическую схему по сравнению с птолемеевской и заключил, что теория Коперника содержала физическое несоответствие. Поэтому Тихо де Браге, в соответствии с современным ему уровнем развития астрономии, сам создал новую систему устройства Вселенной.

В 1603 году была опубликована его книга «О Комете 1577 года», в которой дается теория новой модели Вселенной. Эта теория Тихо де Браге явилась своеобразным компромиссом между теориями Птолемея и Коперника. Он пришел к выводу, что Луна, как ближайшее к Земле тело, вращается непосредственно вокруг нее. Вокруг же Солнца планеты перемещаются по круговым орбитам в следующем порядке: 1. Меркурий, 2. Венера, 3. Марс, 4. Юпитер, и 5. Сатурн, а само Солнце с обращающимися вокруг него планетами обращается после Луны по круговой орбите вокруг Земли. В то же время все названные светила вместе со звездной сферой выполняют, по представлениям Аристотеля, суточное движение. Следовательно, Тихо де Браге создал гео-гелиоцентрическую систему. Ее созданием в историческом развитии астрономической мысли был обозначен редкий, но очень интересный факт. Модель



Гео-гелиоцентрическая система Тихо де Браге, XVI век.

устройства Вселенной, по Тихо де Браге, ничем не отличается от той, которую 400 годами раньше дал в своем бессмертном произведении «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели (см. рис. 1).

Думается, читатель согласится с нами в том, что эту модель Вселенной Тихо де Браге разработал самостоятельно, создавая свою теорию, он, безусловно, не знал, что за четыре века до него эта система уже была построена Руставели и в искусно замаскированном по определенным соображениям виде дана в грузинской поэме.

Почти одновременно с Тихо де Браге аналогичную теорию опубликовал Реймерс, из-за чего между ними возник спор, длившийся 12 лет. Первый из них обвинял второго в том, что Реймерс в 1584 году видел его, Тихо де Браге, рукопись, откуда заимствовал основные идеи теории.

Возможно, оба ученых, каждый самостоятельно, создали почти одинаковую модель строения Вселенной.

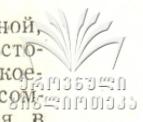
Как мы уже отмечали выше, наряду с широко распространенной среди античных ученых геоцентрической теорией существовали и гелиоцентрические взгляды. Представители школы — Пифагор (560—490 гг. до н. э.) и его последователи Филолаос, Тимеос и другие высказывали, в частности, мысль о движении Земли.

Из греческих астрономов подлинно верным поборником этой идеи был Аристарх, утверждавший, что звезды неподвижны и Солнце находится в центре той сферы, к которой они прикреплены, а Земля обращается не только вокруг своей оси но и вокруг Солнца. Таким образом, эта теория строения Вселенной являлась гелиоцентрической, хотя она и не была детально разработанной.

Выше мы указывали, что данная теория получила свое развитие в XVI веке. Поскольку доводы против гелиоцентрической системы, выдвинутые Тихо де Браге, приводились в старину еще Аристотелем, гениальная идея Аристарха не нашла в ту эпоху распространения — она оказалась преждевременной, так как намного опережала физические представления его современников. То обстоятельство, что на вопросы, поставленные Аристархом, ответа не находилось, вызывало среди ученых улыбку, и гелиоцентрические представления об устройстве Вселенной были признаны лишенными основания и неприемлемыми. Поэтому доктрина о движении Земли издревле была отвергнута и совершенно забыта человечеством.

Ясно, что и в эпоху Руставели объяснение явлений, доказывающих движение Земли, оставалось для человечества неразрешенной проблемой, и это еще более способствовало утверждению принятой в тогдашних странах геоцентрической системы Птолемея. Большую роль в деле мирового признания этой системы сыграло и следующее обстоятельство: как отмечалось нами выше, по Птолемею, восьмая — самая большая сфера — относилась к далеким, неподвижным звездам.

Христианская церковь к этой восьмой сфере добавила девятую — обитель святых. Исправленная таким образом система Птолемея окончательно приспособилась к библейской космологии. Поэтому такое представление об устройстве Вселенной получило распространение во всех христианских странах тех времен в качестве единственно истинной теории.



Любая отличная от нее новая мысль объявлялась вредной, критической, а ее автор или последователь подвергался жестокому преследованию и каре со стороны церкви. И вот в такое время при таких обстоятельствах Руставели, будучи несомненно глубоко верующим в бога христианином, усомнился в верности системы Птолемея, убедился в ее несостоятельности и сам приступил к решению грандиозной задачи — составлению подлинной модели строения Вселенной.

В те времена Грузия считалась сильнейшим из государств Передней Азии, тот век был веком истинного расцвета грузинской культуры.

В большом количестве центры грузинской культуры существовали в ту эпоху и за границей — к примеру, грузинские монастыри были в Сирии (Шавмтийский), в Палестине (Сабацминдский), в Византии (Петрицонский) и т. д. Ясно, что Руставели имел возможность ознакомиться не только с изобилующими в те времена сделанными арабами переводами астрономической литературы, но и — в первоисточниках — как с творчеством ученых античных стран, так и со всеми существовавшими до его эпохи теориями о движении небесных тел и вообще с любыми системами строения Вселенной.

Вполне вероятно, что Руставели был знаком с взглядами Пифагора, Анаксагора, Филолаоса, Сократа, Платона, Аристотеля, Гераклита, Аристарха, Эвдокса, Гиппарха и кто знает скольких еще ученых на движение небесных тел и устройство Вселенной.

И Руставели и Тихо де Браге доподлинно знали, что современник Аристотеля — Гераклид (388—315 гг. до н. э.) представлял орбиты планет Меркурия и Венеры кругами, в центре которых помещается Солнце. В Древнем Египте такая мысль признавалась полностью правильной лишь применительно к движению именно этих двух планет. Там тоже считалось, что Меркурий и Венера — спутники Солнца и обращаются вокруг него. Следовательно, Руставели были знакомы два диаметрально противоположных объяснения кругового вращения этих двух планет:

первое — введенная в ту эпоху общеизвестная система Птолемея — эпициклический порядок движения планет;

второе — совершенно забытая к тому времени, но принятая пятнадцатью веками раньше древними египтянами мысль о том, что Меркурий и Венера обращаются по круговым орбитам вокруг Солнца.

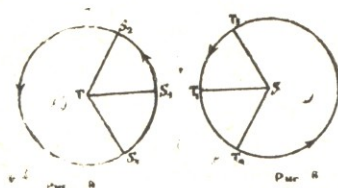
Руставели предстояло выяснить, какое из этих двух представлений о движении истинно, какое из них реально существует в природе. Нельзя было решать такую задачу старым методом исследования, введенным греками, — посредством обсуждения анализа прений. Здесь следовало использовать совершенно иной путь, опыта и наблюдений. Следовательно, для того, чтобы определить, какой из двух описанных порядков движения светил является правильным, Руставели, по нашему мнению, должен был выполнить следующую работу: прежде всего — изучить все ранее созданные теории движения планет, овладеть техникой точных астрономических наблюдений светил и, в резуль-

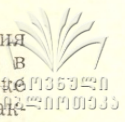
тате систематических и долговременных личных наблюдений, определить расположение светил и их перемещение по небу; собственные результаты ему предстояло сравнить с документальными в предшествующую эпоху; таким образом, Руставели должен был располагать массой материалов, накопленных на протяжении веков. Затем, используя свои глубокие познания в области астрономии, автор «Вепхисткаосани» решал такую задачу: систематизировать весь этот материал, чтобы получить возможность путем сравнения выяснить, какие из расположенных светил, данных собственно Птолемеем или другими, наиболее правильны применительно к любому моменту времени.

Выполнив столь большую работу и взвесив все, опираясь на математику, и с помощью геометрических доказательств, Руставели с присущей ему поразительной одухотворенностью устанавливает именно то, что реально существует в природе: Меркурий и Венера действительно обращаются вокруг Солнца, а значит, теория Птолемея — ошибочна.

Как мы показали выше, Руставели не только установил верность представлений древних египтян о Меркурии и Венере, но, в результате их развития, дал совершенно новую, прогрессивную модель устройства Вселенной, которую мы называем сегодня гео-гелиоцентрической системой. И в самом деле, по сравнению с теорией Птолемея, гео-гелиоцентрическая система гораздо проще и удобнее. Согласно ей, движение каждой планеты соответствует физической действительности; порядок светил при максимальном удалении от Земли в этой системе дан верно, а у Птолемея ошибочно. С точки зрения наблюдателя, гео-гелиоцентрическая система аналогична системе Коперника, так как орбита видимого годичного движения Солнца вокруг Земли получается точно такой же, если допустить, что Солнце неподвижно, а Земля движется. Рассмотрим это явление.

Допустим, что в течение года Солнце проходит по своей видимой орбите точки S_1, S_2, S_3 , в то время как Земля неподвижно расположена в центре T (рис. а). Теперь, если мы примем Солнце за неподвижное тело и перенесем в точку S , а вместо него заставим двигаться Землю, которая займет T_1, T_2, T_3 (рис. б), то получим эффект, несомненно, один и тот же. Если прямые T_1S, T_2S, T_3S и TS_1, TS_2, TS_3 соответственно будут равны друг другу и параллельны по направлению, то и в самом деле для глаза безразлично — Солнце опишет круг S_1, S_2, S_3





или Земля равный ему путь T_1, T_2, T_3 . Правда, эти движения происходят в противоположных друг другу направлениях, но в конце концов каждый этот круг описывается, в одном и том же направлении, и поэтому результат для наблюдателя будет также один. В силу всего этого известный астроном Г. Гурев пишет о гео-гелиоцентрической системе следующее:

«Так как в системе Тихо де Браге все планеты и Солнце имеют один общий дефект, то в геометрическом отношении она была значительно проще системы Птолемея и даже могла считаться вроде равнозначной системе Коперника» (Г. А. Гурев. Системы мира. М., 1950, с. 179).

Интересно выяснить: одинаковы ли созданная в XII веке Руставели и разработанная в XVI Тихо де Браге гео-гелиоцентрические системы или между ними есть разница.

С геометрической точки зрения, представления Руставели и Тихо де Браге полностью совпадают. Однако Тихо де Браге объясняет лишь кинематику движения небесных тел, совершенно не касаясь их динамики, тогда как Руставели вместе с кинематикой планет вскрывает причины, вызывающие их движение.

Примечательно, что теоретики прошлого от Аристотеля и до Кеплера вообще не рассматривали причин, вызывающих движение небесных тел. Как известно, Аристотель создал свою теорию на этот счет. Согласно ей, светила совершают круговое равномерное движение. По мнению Аристотеля, именно такое движение является неотъемлемым свойством небесных тел.

Этой точки зрения придерживались астрономы на протяжении веков и поэтому считали, что движение светил «особенно» и не имеет никакого отношения к законам земного движения; именно по этой причине в старых системах устройства Вселенной мы не встречаем даже элементов небесной механики.

Везде схема кругового движения светил принималась как аксиома. Первым ее нарушил Кеплер, чьи гениальные открытия дали объяснение геометрическим свойствам движения планет. Кеплер впервые математически доказал, что описываемый планетой путь представляет собой не круг, а эллипс, в одном из фокусов которого помещено центральное небесное тело — Солнце. Но и он не смог выяснить, почему планеты движутся по эллипсу.

Правда, Кеплер указывал, что сила, сообщающая планетам движение вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, исходит от самого Солнца, и это соответствует действительности, но он не смог дать правильного объяснения ее природы. Открытия Кеплера со всей определенностью четко поставили перед учеными задачу найти ту причину, ту силу, которые бы объяснили движение планет.

Первым попытался решить эту задачу выдающийся философ и математик XVII века Рене Декарт. По его мнению, бесконечная Вселенная составляет целостную среду, однородность которой постоянно нарушается возникающими в ней вихрями, что со своей стороны является причиной создания звезд, планет и других небесных тел. Согласно этой теории, каждое небесное тело как бы погружено в свой вихрь, который и движет им.

Ясно, что такая установка лишена связи с точными законами Кеплера, не может объяснить она и открытого Галилеем закона движения свободно падающего тела. Таким образом, теория бурь, созданная Декартом, не отвечала требованиям поставленной задачи; однако она сыграла тем не менее положительную роль, ибо вызвала большой интерес ученых к данным проблемам.

Отверг теорию Декарта и Ньютон. Он утверждал, что раз, по законам Кеплера, планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, то причиной этому должны быть не вихри, а сила, которая исходит от самого Солнца. Ньютон, опираясь на открытый Галилеем закон инерции, изученную Хьюгенсом центростремительную силу и законы Кеплера, определил действие этой силы следующим образом.

Сила притяжения между любыми двумя материальными частицами прямо пропорциональна массе этих частиц и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Этим Ньютон показал как проявляется свойство притяжения материальных тел, способность их притяжения, а также, что этот закон в равной мере распространяется на любую находящуюся в произвольной точке бесконечной Вселенной материальную частицу. Вот почему это положение стало именоваться законом всемирного тяготения. Открытие Ньютона окончательно подтвердило правильность гелиоцентрической теории и дало ключ к объяснению всякого движения небесных тел. Именно на

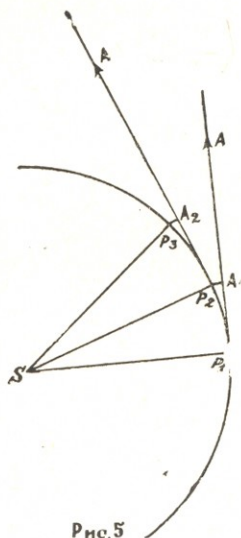


Рис. 5

Под влиянием солнечного притяжения путь планеты постоянно искривляется.



основании этого закона родилась небесная механика, ставшая опорной базой для создания и совершенствования современной высококоразвитой техники.

Ньютоновский закон тяготения, т. е. закон действия гравитационной силы, Г. Гурев характеризует следующим образом:

«Открытие закона всемирного тяготения одно из величайших завоеваний человеческого гения, одно из самых поразительных событий в истории естествознания» (Г. Гурев. Системы мира. М., 1950, с. 261).

Ньютон первым показал, что криволинейное смещение планет является следствием совместного действия их инерционного движения и центральной силы — тяготения. Как это знает сегодня каждый школьник, любое тело в силу инерции движется в межзвездном пространстве прямолинейно и равномерно; для того же, чтобы это прямолинейное движение нарушилось, на тело должна действовать какая-либо внешняя сила. Действие это должно быть непрерывным, с тем чтобы оно в каждый следующий момент отклоняло тело от его прямолинейного направления. В самом деле, если бы в тот момент, когда планета находится в точке P_1 (рис. 5), прекратилось тяготение Солнца S , то планета, подчиняясь силе инерции, сразу же устремилась бы по прямой в направлении касательной PA , и за короткий интервал времени прошла, допустим, отрезок P_1A_1 . Однако в действительности сила тяготения S отклонит тело P_1 к Солнцу и вместо отрезка P_1A_1 за то же короткое время — t_1 планета опишет дугу P_1P_2 .

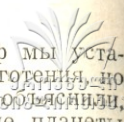
Если же сила солнечного притяжения исчезнет тогда, когда планета будет находиться в положении P_2 , то за короткий интервал времени — t_2 она вновь устремится по прямой линии в направлении касательной P_2A . Но солнечное тяготение действует непрерывно и также непрерывно искривляет путь планеты; поэтому оно вновь отклонит ее к себе и в конце короткого интервала времени — t_2 планета окажется в точке P_3 . И так — до бесконечности. Значит, подчиняясь силе инерции, планета старается удалиться по прямой от Солнца, но оно благодаря своему притяжению ее не отпускает, и поэтому планета под влиянием равного действия двух сил начинает эллиптическое или круговое движение вокруг центрального тела — Солнца.

Все ученые древности были далеки от такого верного объяснения криволинейного движения небесных тел или подобных ему представлений. Даже Копернику и Тихо де Браге это было недоступно.

Вспомним строфу из «Витязя в тигровой шкуре»:

О, Отарид, кроме тебя моя участь ни с кем не сходна,
Солнце вертит мною, не отпускает, встретив, предаст
огню...¹.

¹ Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Подстрочный перевод с грузинского С. Иорданшвили — «Литература да хеловнеба», Тбилиси, 1966, с. 200.



В результате исследования этой и других строф мы установили, что в них не только подразумевается сила тяготения, но и даны такие свойства этой силы. Вместе с тем мы объяснили, что слово «вертит» обозначает орбитальное движение планеты вокруг Солнца.

По поэме, ввиду того, что Солнце обладает мощнейшей силой тяготения, планеты под воздействием этой силы вроде бы должны упасть на него; однако в данной строфе это представлено иначе: Солнце лишь «не отпускает» от себя. Следовательно, выражение «не отпускает» отчетливо указывает на свойство планеты убежать от Солнца. И свойство это — не что иное, как инерционность планеты. Солнце своим действием «вертит» Меркурий только вокруг себя. А это обращение, это криволинейное движение небесного тела представлено в строфе как результат совместного действия двух сил — способности планет бежать от Солнца и способности Солнца притягивать планету.

Таким образом, в поэме, согласно ее современному истолкованию, объясняется криволинейность движения планеты; поэтому гео-гелиоцентрическая система Руставели более совершенна и близка к истине, чем теория Тихо де Браге.

Изучение строения Вселенной, разгадка ее тайн на протяжении веков остаются для человечества проблемой первостепенной важности. Вся история развития человеческого мышления убедительно свидетельствует о том, что на ее решение были направлены усилия гениальных умов, независимо от области, в которой они работали, — в философии, математике, физике или в какой-либо иной. Известно и другое: начиная со II и кончая XVI веком не нашлось астронома, который выработал бы какую-либо теорию строения Вселенной, существенно отличающуюся от геоцентрической системы Птолемея; в то же время факт отображения в памятнике XII века — «Витязе в тигровой шкуре» гео-гелиоцентрической системы позволяет думать, что в Грузии существовала довольно большая группа ученых, чьи самостоятельные поиски и исследования привели к рождению новых представлений о строении Вселенной, переданных в поэме Шота Руставели. Допустим, что автор «Вепхисткаосани» лишь разделил взгляды ученых, созданную другими столь передовую по тем временам теорию; одного этого было бы вполне достаточно, чтоб признать его большим ученым.

Академик Акакий Шанидзе издал в 1975 году уникальный памятник «О созвездиях и семи светилах» (астрологическое сочинение XII века), где он замечает: «Астрология, как и в других странах, была распространена у нас, что видно и из «Витязя в тигровой шкуре»; подтверждает это и приводимый здесь текст. Правда, ее нельзя назвать оригинальной, однако нет сомнения, что она была переделана для грузинского читателя, приспособлена к общественному строю того времени и согласована с ним».

Привлекает особое внимание то обстоятельство, что последовательность планет в этом трактате дана по порядку Птолемея, на его основе составлена и таблица «семи светил», в том же



05 0353 210
012 22 11101333

порядке представлена гармония небес. Данное обстоятельство достоверно свидетельствует о том, что в Грузии того времени, как и в каждой христианской стране, была принята и распространена птолемеевская теория строения Вселенной.

Как видно отсюда, порядок расположения планет, нашедший отражение в «Вепхисткаосани», был неизвестен человечеству той эпохи; не знали его, естественно, и в Грузии. А это документально подтверждает: приведенные в поэме новые данные принадлежат Руставели. Такое соображение еще более подкрепляется следующим обстоятельством: каждое астральное явление описано в «Витязе в тигровой шкуре» детально и именно в той последовательности, в какой оно протекает на самом деле. Вместе с тем, в поэме показаны также специфические детали небесных явлений, знать о которых мог разве лишь высококвалифицированный специалист; кроме того, в «Вепхисткаосани» проявляется столь глубокое знание сути природных явлений, что становится очевидным: автор поэмы и сам должен был заниматься наблюдениями за этими явлениями; и наконец, если принять во внимание тот факт, что только в «Витязе в тигровой шкуре», и нигде больше, встречается эта оригинальная геоцентрическая система строения Вселенной, то нам остается лишь признать автора «Витязя в тигровой шкуре» и автором этих больших достижений в астрономии.



Карп АХПАТЕЛОВ

В СТАРОМ ЦИРКЕ

(ВОСПОМИНАНИЯ ЦИРКОВОГО АКТЕРА)

Из самых ярких впечатлений детства, прошедшего в Ставрополе — типичном купеческом городе, где я родился, были ярмарки, устраиваемые городскими правителями и купцами каждой весной и осенью. По примеру нижнегородских ярмарок торговать сюда стекалось множество разных людей, прибывавших со всех окрестностей. В говорах, торгах, любимых лакомствах, традиционных зрелищах возникали подлинные картинки русской истории.

Привлекали внимание ярмарочные артисты — бродячие фокусники, чревоещатели, кукольники. Медвежатник водил на цепи ученого медведя, и тот показывал, как баба с ведрами идет по воду или как пьяный мужичонка танцует камаринскую. Находчивые, острые на язык панорамщики показывали виды городов — Парижа, Рима, Берлина, разные исторические картинки, зазывая зрителей веселыми прибаутками:

А вот и я, развеселый потешник,
Известный раешник,
Со своей панорамой
Картинки верчу-поворачиваю,
Публику обморачиваю,
Себе пяточки выколачиваю!
Подходите, подходите,
Да только карман берегите
И глаза протрите!

Тут же недалеко стояла аляповатая ширма. Над ней мелькала забавная фигурка Петрушки и других любимых персонажей народных гуляний. Петрушка за словом в карман не лезет, охотно вступает в разговоры с публикой.

Главы из книги.



— Вот и я пришел вас поздравить, с праздником поздравить! Здорово, ребяташки! Бонжур, славные девчушки, быстро-быстро глаза вострушки!

Шарманщик вертит ручку своей верной «подруги». На бортике ящика сидит красный попугай.

— Желаете узнать, что ждет вас в жизни? Пожалуйста! Вытащит попугай из ящика билетик, и в нем вся ваша судьба как на ладони. Хотите верьте, хотите нет.

Ярмарочные дни со всевозможными развлечениями и увеселениями превращались для нас, детворы, в настоящие праздники.

Получишь дома монетку и не знаешь, как получше распорядиться «богатством».

Всего хочется: на карусели покружиться — скрипучей, расписной, и в небо на лодках взлететь, чтобы дух захватывало, с деревянных гор скатиться на особых лубках или ковриках. Страшно и весело.

Вокруг все соблазняет: пышки горячие, орехи каленые, пряники «сердца» и «тещины языки», вафли, маковники, леденцы на палочках.

Медленно проплывают над головами «связки воздушных шаров, круглых, продолговатых, всевозможные деревянные игрушки. Хочется всего, но горячий пыл желаний остывает от сознания, что у тебя в руке зажаты всего-навсего две копейки или пятак.

Самым захватывающим и волнующим для детей были представления в балагане.

К началу ярмарки на площади строилось небольшое сооружение, которое сверху покрывалось брезентом. Перед сценой вешался красный кумачовый занавес. На врытых в землю двух столбах крепились, большие лампы «Молнии». Снаружи все здание украшалось рукописными, пестро размалеванными афишами с ошеломляющими заголовками — «Отсечение головы живому человеку», «Человек-каучук», «Женщина-паук», «Человек, глотающий огонь» и изображениями заманчивых эпизодов из представлений.

На балкончик-ярус до начала представления выходила вся труппа: гимнасты, жонглеры, акробаты, дрессировщики. Бил барабан.

В грязном ситцевом клоунском балахоне с лицом, измазанным красками и пудрой, стоял клоун и вдохновенно зазывал почтенную публику:

Выступают лучшие цирковые артисты России!
Давай звонок!
Представление начинается!
Сюда! Сюда! Все приглашаются!
Прохожий, остановись,
На наше чудо подивись!
За гривенник билет купите
И в наш первоклассный балаган входите.
Давай, давай, налетай!
Билеты хватай!

Чудеса узрите —
И в Америку не захотите!



Тут же на балкончике, разыгрывались на ходу импровизированные сценки. И все это — с жизнерадостным, иногда грубоватым юмором.

Ярмарка — угарное веселье, шум, гам — с утра до ночи. Мог ли я в то время представить, что когда-нибудь вместе со старшим братом Григорием выйду на арену цирка в роли клоуна.

В суровую пору гражданской войны осенью 1919 года, проездом из Грузии в Ставрополь, я остановился на станции Кавказской. Это был хутор Романовский (ныне г. Крапоткин), с грязными, немощеными улицами. Кругом казаки, белогвардейцы. На стенах — плакаты: «За единую неделимую Россию», а рядом висит огромный портрет Деникина.

На заборе одного из домов болталась афиша:

«Цирк Кутенко
Сегодня и ежедневно
большое цирковое представление
с участием любимца публики
ГИГО-ГИГОНИ».

Я застыл от неожиданности — ведь это же мой брат, Гриша! И тут же обратился к прохожему с просьбой показать мне, как добраться до цирка. Я быстро пересек Романовскую улицу и увидел невзрачный на вид, старенский, небольшой двухэтажный, покрытый соломой домишко. Здесь Григорий занимал одну комнатку с коридорчиком, полутемную, с одним окном.

С колотящимся от волнения сердцем стучусь в дверь. На пороге показался худощавый, высокого роста человек в пенсне, со значительной проседью в волосах. Это был мой брат Григорий.

— Вам кого? — спрашивает, не узнавая меня. Я изумленно смотрю на него в упор.

— Ты что, не узнаешь меня?

Мы оба молча плакали.

До поздней ночи мы просидели втроем — Гриша, его жена Лиза и я.

Проснувшись рано, я застал брата за неожиданным занятием. Он чинил рваные галоши.

Заметив, что я не сплю, он объяснил, что кормит его это ремесло, а не цирк, потому что время тяжелое и цирк лишен возможности систематически давать представления. Застряв на хуторе, где власть менялась очень часто и всюду слышались стрельба и конский топот, люди сутками не выходили из дома. Безработные артисты зарабатывали себе на жизнь, не гнушаясь никаким ремеслом. За заливку галош Гриша получал картошку, свежий жмых, а когда посчастливится, и ячменную муку. Брать деньги не имело смысла, так как положение было неустойчивое: займут хутор красные — в обращении советские деньги, захватят его денкинцы — пошли в ход их знаки. Кроме того, имели хождение колчаковские деньги, как их на-

звали — «колокольчики». Бандит Махно, и тот имел свои деньги.

Незадолго до моего приезда Гришу чуть было не расстреляли белогвардейцы за участие в цирковом представлении для бойцов Красной Армии, в котором высмеивались белогвардейские генералы, и за то, что он укрывал в своем доме партизана Павла Волкова. Хутор часто переходил из рук в руки, и Павел Волков присоединился к отрядам Красной Армии. Они и спасли Гришу.

В тот же день, когда я приехал, вечером должно было состояться представление. Григория предупредили, что на этот раз ему выступать можно — в хуторе стоит новый белогвардейский отряд, который его не знает.

Ему нередко приходилось скрываться, чтобы не опознали как сторонника красных.

Уложив в самодельный чемоданчик свой реквизит, он отправился в цирк. Чуть позже пошли и мы с Лизой. У кассы толпились люди. Тут же стояла большая группа белогвардейских солдат.

А по улицам двигались тачанки с пулеметами. Где-то раздавались орудийные выстрелы и пулеметные очереди.

Цирк постепенно заполнялся людьми. Небольшое деревянное помещение освещалось громадными керосиновыми лампами «Молния» на столбах.

Раздался третий звонок. Жиденький оркестр заиграл марш, и на манеже появился шталмейстер. Начинается представление. Обычная для провинциального цирка программа: группа акробатов, джигит-наездник. «Сильнейший в мире», всемирно известный атлет, поднимающий гири, восходящая звезда-канатоходка и другие. В конце второго отделения выступал Григорий. Когда он во вздохмаченном рыжем шарике, в непомерно большом клетчатом костюме с постоянно спадающими брюками появлялся на манеже, публика встречала его хохотом и аплодисментами.

Живя у брата, я постепенно стал привыкать к новой обстановке. Днем помогал ему заливать галоши, вечером брал небольшой чемоданчик с костюмом Гриши и отправлялся в цирк. Прихватывал с собой и примус, чтобы обогреть комнату, в которой он гримировался.

Партнер Гриши — артист Михалини часто болел, и брату приходилось выступать со случайными напарниками. Это снижало эффект выступления. У Гриши возникла мысль — привлечь и меня к артистической деятельности.

Загоревшись этой идеей, он убеждал меня:

— А в самом деле, давай попробуем. Сделаем номер «двойное антре». Представляешь, как это будет здорово! Расклеивают афиши, на них громадными буквами — «Буффонадные клоуны, братья Гигони».

Изо дня в день мы готовили нашу программу. Лиза среди тряпья нашла в старом сундуке лоскуты разноцветного атласа, из которого вышел приличный клоунский четырехцветный костюм с накрахмаленным жабо и остроконечной шапочкой.

Однако назревали новые события. На хуторе стало беспокойно, участились перестрелки. Позже десяти часов вечера появляться на улице не разрешалось. Люди шепотом передавали друг другу радостную весть о том, что скоро придут красные. Хутор лихорадило. Ожидались серьезные бои. Цирк закрылся. Программа была готова, а показывать ее было некому.

Напряженное ожидание, в котором находился хутор в последние дни, вылилось, наконец, в решительную схватку между белыми и красными. Войска Красной Армии под командованием Буденного пошли в наступление по всей Кубани, и белогвардейцы были изгнаны из Кавказской.

Вспоминается, как части Красной Армии проходили по улицам хутора. Усталых, пропыленных бойцов восторженно встречало все население.

На улицах расклеивали обращение коменданта гарнизона к населению, призывающее к спокойствию и бдительности, соблюдению полного порядка и революционной дисциплины.

Вся труппа цирка с большим подъемом готовила торжественное представление. Расклеивались громадные афиши:

Цирк «Модерн»

Сегодня большое цирковое представление, посвященное доблестной Красной Армии. Участвует вся труппа.

Впервые
выступают буффонадные клоуны,
братья ГИГОНИ.

Наш совместный дебют и мое артистическое «крещение» на манеже старого цирка прошли с большим успехом.

Шли дни, мы не один раз репетировали новое антре, разучивали злободневные репризы. В перерывах беседовали о прожитых днях, о судьбе клоунов, их роли и месте в жизни.


Григорий был сдержан и скуп на слова. Он увлекался цирком еще при жизни матери, бросил школу и стал путешествовать с бродячими артистами, с цирком и балаганами.

С той поры цирк стал его родным домом.

Брат прошел суровую цирковую школу. Он мне поведал о том, что в цирке существовали неписанные законы, по которым новичок обязан был, прежде чем попасть на манеж для исполнения жанрового номера, делать в цирке всю тяжелую работу—чистить лошадей, убирать конюшню и помещение цирка, бегать на базар, угождая хозяину, быть его слугой, обслуживать артистов. Кроме того, ежедневно бывать на репетициях, отрабатывать каждое движение и получать хлыста, если что не так. Работаешь иной раз бесплатно, лишь за скудные харчи и ночлег на конюшне или где-нибудь в проходе, под галеркой.

Владельцы цирков жестоко эксплуатировали тех, кто, работая на манеже, каждый раз рисковал жизнью и приносил им колоссальные доходы.

В цирках много было опасных номеров, которые выполнялись под куполом, на большой высоте. Причем сложнейшие трюки, по настоящему антрепренера, выполнялись без предохра-



нительной сетки, что увеличивало опасность, а значит, и увеличивало сборы в кассе, ибо смертельный риск артистов щеко-тал нервы падкой на сенсацию публики. Тем же из артистов кто пробовал протестовать, попросту указывали на дверь. Что оставалось делать? Под угрозой остаться без работы они были вынуждены соглашаться на опасные для жизни номера.

Ученики вставали в шесть часов утра и начинали свой рабочий день с обслуживания семьи хозяина, а ночью дежурили на конишне, у лошадей. В цирке никогда не топили, да это было бесполезно, так как крыша была брезентовая и не держала тепла.

По обычаю того времени — рассказывал Григорий — мы играли в пантомимах, выходили на балкон, помогали в фокусах, строили балаганы. Жизнь была трудная. В день приходилось давать по десять-двенадцать представлений.

В первую мировую войну брату пришлось на время сменить клоунский костюм на серую солдатскую шинель. Был на турецком фронте. Кончилась война, и он снова, вернувшись домой, продолжал гастролировать с цирком по городам России, пока они с Лизой не обосновались на Кубани, где и состоялась наша встреча.

...Днем я заливал галоши, а вечером собирал реквизит и костюмы и шел в цирк, но уже не зрителем, а артистом.

Периодически выполнял поручения Григория на станции, где стояли воинские эшелоны. Бойцы с удовольствием окружали меня, и я исполнял песни со злободневными куплетами и импровизации, которые они подхватывали.

Так работали на манеже буффонадные клоуны братья Гитони.

Будучи уже зрелым артистом, Григорий избрал себе амплу клоуна и увлекся этим комедийным жанром.

«Можете ли вы себе представить, — писал на своих страницах театральный журнал «Дневник русского актера» (№ 3—4, 1886 г.), — что в России, где почти все предусмотрено, всякое произнесенное слово на кафедре, в театре, в церкви, на собрании подчинено цензуре, существует целое учреждение вне всякой цензуры, со свободным до ультра словом и действием, большей частью соблазнительным. Мы говорим о цирках...». И далее журнал продолжает: «Клоун может глумиться над общественным порядком, вековыми идеалами, над политикой и нравственностью совершенно свободно. Кто может судить его за это? Никто! Нет закона, который требовал бы, чтобы слова и действия клоуна были подчинены контролю».

Маска буффонадного клоуна стала одной из ведущих форм в жанре клоунады. Пользуясь приемами буффонады, эксцентрики, пародии, они играли роли веселых и беззаботных людей, никогда не лезли за словом в карман. Клоун широко использовал трюковый реквизит — парик с поднимающимися волосами, слезы, бьющие фонтаном, взрывающийся стул, вырастающие ходули...

Клоун может непосредственно общаться со зрителями при помощи реплик, обращенных в зал, втягивать зрителей в трюковую игру (подсадка) и др.

Первым буффонадным дуэтом в России были Сергей Альперов и Бернардо. С. Альперов был одним из самых образованных клоунов своего времени, знал несколько иностранных языков: французский, немецкий, английский, итальянский. Любил театр, много читал. Большой популярностью пользовались также клоуны-буфф Лепом и Эйжен и другие.

Творчество русской клоунады особенно тяготеет к злободневной тематике. Оно ведет свое начало от искусства скомоорохов, позднее «карусельных дедов» (балаганных дедов). Их традиции восприняли первые русские цирковые клоуны Н. Иванов, С. Кристов и другие. Впоследствии современность тематики стала основой творчества братьев Анатолия и Владимира Дуровых, считающихся родоначальниками злободневной сатирической клоунады на русской арене цирка, с которыми Григорий был знаком.

В условиях самодержавной России, сатирические номера Анатолия Дурова имели, безусловно, прогрессивное значение.

Чем дальше, тем серьезнее он относился к своей профессии клоуна.

«О цирковых артистах, — писал он, — говорят с насмешкой, с пренебрежением, со скрытым состраданием. Удивляются головоломным прыжкам наездников, наездниц, гимнастов, смеются островам и шуткам клоунов, но редко уважают в них артистов, а еще реже артиста-человека.

Талантливым писателям, поэтам, художникам, ученым, стратегам — гениям мира и войны — ставят памятники, создают роскошные дворцы и музеи... Какие насмешки, какие злые остроты вызвало бы предложение увековечить памятником, хотя бы даже из глыбы простого камня, имя какого-нибудь талантливого клоуна...

Талант артиста — благословенен, и чудо освещает то место, где он выступает, и часто в холодном полутемном цирке вдруг делается тепло, светло, когда на арене появляется талантливый артист. И пусть смеется, пусть презирает циркового артиста та незначительная, изнеженная аристократическая часть общества, которая построила для себя роскошные театры-дворцы и заперла в них входы народной массе, — цирковые артисты делают большее: они доставляют трудящимся, серому люду запретное для него наслаждение искусством».

Братья Анатолий и Владимир Дуровы развили и утвердили на аренах лучшие традиции русского цирка — его демократичность и сатиричность, нападая на реакционные учреждения царизма и самый царизм. В их выступлениях звучала вера в разрушение деспотизма, буржуазно-дворянского государства.

Они были родоначальниками цирковой династии — создали целую школу русских клоунов и дрессировщиков. Среди множества учеников этих мастеров арены следует назвать их сыновей — Анатолия Анатольевича и Владимира Владимировича Дуровых, дочь — Анну Владимировну. Во втором поколении — их внуков: народного артиста РСФСР Владимира Пригорьевича и заслуженного артиста РСФСР Юрия Владимировича Дурова и еще многих других.

Они продолжают славные традиции своих отцов, дедов и пра-
дедов, показывая свое дарование и высокое мастерство на мнө-
гих цирковых аренах как у нас, так и за пределами нашей Ро-
дины.

Династия Дуровых — это поистине легенда манежа.

Если говорить о подлинных сатирических традициях Ду-
ровых, то в новых условиях их с наибольшим успехом продол-
жал и развил клоун-сатирик Виталий Лазаренко (1890 —
1939). Сын шахтера, он приобщался к цирковому искус-
ству в балаганах восьмилетним мальчиком. После смерти отца
он был отдан в небольшой бродячий цирк М. Котликова. После
восьми лет он прошел разностороннюю цирковую подготовку.
Избрав профессию клоуна, он был коверным рыжим. В те го-
ды брат мой Григорий, встретившись с Лазаренко в одном из
цирков, подружился с ним. Они не раз выступали совместно в
антре.

Лазаренко прожил большую и интересную творческую
жизнь, которая прошла на цирковом манеже. О трудной профес-
сии клоуна и памятных встречах он оставил свои воспоминания.

В 1915 году в конце февраля или начале марта в цирк на
представление пришел Максим Горький. Сидел он в партере во
втором ряду. Лазаренко перед выходом очень волновался и
часто подходил к занавесу и следил за реакцией М. Горького.

В этот вечер Лазаренко делал свое антре. В репертуаре
у него были прыжки «сальто-мортале» через группу лошадей.
Во время антракта Алексей Максимович пришел посмотреть
лошадей. Артисты сразу же окружили его, беседовали с ним.

Когда закончилось представление и оркестр сыграл марш,
артисты и публика проводили Алексея Максимовича до саней.

В начале 1919 года был бенефис Лазаренко, на котором
присутствовал Александр Иванович Куприн. После представле-
ния он пришел в уборную к Лазаренко, крепко пожал ему ру-
ку. Лазаренко тут же разгримировался и оделся. Александр
Иванович попросил у него лист бумаги и написал следующие
слова: «Дорогой друг Лазаренко! Смейся, прыгай, остри, паяс-
ничай. Твой труд любит и чопорный партер, любит и шумная
галерка, а больше всего любят дети, и черт поberi тех, кто твое
искусство поставит ниже всего другого — оно вечное».

Григорий близко был знаком с известными музыкальными
клоунами Бим-Бом, с которыми он встречался по работе в раз-
личных цирках и балаганах. Создателями номера дуэта клоу-
нов Бим-Бом был артист Иван Семенович Радунский (1872—
1955) и обрусевший итальянец — музыкант-любитель Ф. Кор-
тези (Бом), а позднее, после его гибели, — Станович. Их но-
мера состояли из комических сценок, злободневных реприз, со-
провождаемых игрой на музыкально-эксцентрических инстру-
ментах. Они исполняли популярные народные мелодии. В но-
мер входили музыкально-акробатические трюки. Они разыгры-
вали также музыкальные пародии «Отелло» и другие, изобре-
тали новые эксцентрические инструменты. В их руках скво-
родки, метла, пила, бубенчики, колокольчики и даже дрова и
другие предметы превращались в источник мелодичных звуков.

Номера Бим-Бом отличались жизнерадостностью, изыскан-
ством, юмором. Они гастролировали в цирках и театрах-варьете
Парижа, Берлина и других городов Европы, имели огромный
успех, первыми из цирковых клоунов включили в свой
репертуар куплеты и частушки, исполненные под собствен-
ный аккомпанемент на самых различных инструментах.

Позднее Григорий рассказал мне о работе у нового антре-
пренера, пригласившего его на сезон.

В те дни прибыли на гастроли артисты, среди которых
были и давние друзья Григория по цирку: Коля Тамарин —
оригинальный музыкальный эксцентрик, создатель ряда ориги-
нальных номеров, которые обычно завершались музыкально-
пародийными миниатюрами, факир Бен-Али, негр Бапри-Кук,
Цхомелидзе «Алекс», которого Григорий и другие его друзья
запросто называли «Цхома». Это был клоун-дрессировщик со-
бак, акробат, наездник, коверный клоун.

Нередко перед моим мысленным взором возникал образ
старого цирка в Кавказской, во многом похожего на Тбилисский
цирк, находящийся в те годы на Верийском спуске (ныне спуск
Элбакидзе).

Еще в 60—80-х годах прошлого столетия в Тифлисе впер-
вые выступали во временных помещениях цирковые труппы
братьев Годфруа, А. Фюрера и другие, а уже в 90-х годах
братья Никитины выстроили на Головинском проспекте (ныне
Руставели), на том месте, где сейчас здание редакции «Зари
Востока», каменное здание цирка, в котором наездами гастро-
лировала руководимая ими труппа и труппы других антрепене-
ров. В начале 1910 года цирк Никитиных сгорел. Вскоре братья
Ефимовы построили на берегу Куры деревянный цирк, а в 1914
году Есиновский возвел на другом берегу каменное здание,
которое и простояло до 1940 года.

В сезон 1935 — 1936 гг., когда директором цирка был
Роман Гамсахурдия, Григорий с молодым артистом Васо Ма-
чаидзе создали грузинскую клоунаду и разыгрывали двойное
антре и пользовались у зрителей большим успехом.

Григорий неплохо играл на скрипке, гитаре, на губной
гармошке, и благодаря этому мы вносили в нашу программу
некоторые элементы музыкально-эксцентрических номеров.

Яркие страницы в историю грузинского цирка вписали та-
кие мастера, как Л. Мчедlishvili, Э. Цхомелидзе, Л. Агдгеме-
лашвили, А. Дадешкелиани, А. Никабадзе, Г. Гарсеванишвили
и другие.

Шли годы. Покидали манеж старые мастера. Больше двух
десятилетий прошло с тех пор, как создан грузинский цирко-
вой коллектив, уже популярный и признанный во всей нашей
стране.

В Тбилиси создано Государственное училище эстрадно-цир-
кового искусства, призванное готовить смену цирковых арти-
стов, готовить яркое большое будущее грузинского цирка.



Акакий ХИНТИБИДЗЕ

«ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕОРИИ СТИХА»

В Ленинграде, где продолжают жить и развиваться большие традиции поэтики, Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) издан очередной сборник по теории стиха.

Готовился он давно. Редактировать его должен был ныне покойный академик В. М. Жирмунский, чья фамилия на титульном листе обведена черной рамкой. После него это дело возглавил В. Е. Холщевников — ответственный редактор как ранее изданного (1968), так и нынешнего сборника «Исследования по теории стиха». В. М. Жирмунский, Д. С. Лихачев, В. Е. Холщевников — таков солидный состав его редакционной коллегии.

Сборник весьма разнообразен. В нем речь идет о рифме и метрике, строфике и композиции, стиле и интонации. Сфера исследований также обширна. Это — и народный стих, и старая и новая поэзия — начиная с былин до Жуковского и от Жуковского до Заболоцкого.

Наряду с ленинградскими авторами в сборнике участвуют представители различ-

ных научных центров нашей страны.

Обширный труд М. Л. Гаспарова касается версификационного строя русских былин. Классификация, типология подчинены статистическому учету. На основании сопоставления различных точек зрения и анализа большого количества материала автором установлено, что стихосложение былин — чисто тоническое, основанное на музыкальных тактах. Былины, как вытекает из исследования М. Л. Гаспарова, — это трехиктный народный стих.

Другой автор — К. Д. Вишневецкий, исследуя архитектуру русского стиха, обращается к 20 тысячам поэтических произведений (начиная с Тредиаковского и включая Некрасова), по особенностям строфики и рифмы создающим множество композиционных разновидностей. Тут встречаются как закрытые формы, так и регулированные и нерегулированные, а также сложные стихотворные ассоциации. Это меняющееся по эпохам многообразие позволяет поэту нюансировать, помогает

ему в художественном воплощении своего поэтического замысла. В этом отношении архитектоника является более зримо действующим элементом структуры, чем метрика и ритмика.

Два исследования в сборнике посвящены проблеме рифмы. Это «Опорный согласный в рифме» А. Л. Жовтиса и «Консонантные условности русской мужской рифмы» А. А. Илюшина.

Труд А. Л. Жовтиса — из области сравнительной метрики. Вопрос богатой (с опорным согласным) рифмы рассмотрен им в сопоставлении русского и английского стиха. Для исследования взяты старая рифма и рифма XIX века. По заключению автора, в русском языке этого периода мужская рифма с опорным согласным употребляется чаще и привычнее, чем в английском. Более того, английские стиховеды не считают желательным повторение опорного согласного в классической рифме.

Чем объяснить это обстоятельство? Рифма — не только согласованность звуков, она имеет еще и смыслово-семантическую сторону. «Рифменное созвучие, — сказано в работе, — как единственный механизм поэтической структуры существует не только потому, что в нем фонетические слова приравниваются на звуковом уровне, в то же время они сопоставляются и противопоставляются на уровне семантико-содержательном». Поскольку английский аналитический язык беден рифмопроизводительными формами, а требование в рифме опорного согласного в этом отношении

было бы еще большим ограничением, на фонетическом уровне достаточным была сочтена согласованность отдельных частей (клаузулы).

В современной русской и английской рифме этой проблемы нет, так как сегодня рифма существенно изменила свой прежний вид. В обиход вошли консонантные рифмы: согласованность звуков распространялась и на левую сторону рифмовых единиц и богатая рифма стала явлением обычным.

По мнению А. А. Илюшина, существование открытых и закрытых форм русской мужской рифмы вносит некоторый корректив в традиционное толкование классической рифмы. Мужская рифма с гласным звуком на конце (открытая) не начинается с последней ударной гласной. Она обычно начинается с опорного согласного (волна — спина). С ударного гласного начинается лишь закрытая (с согласным на конце) мужская рифма. Несогласованность замыкающих согласных в закрытой рифме не имеет такого значения, как отсутствие опорного согласного в открытой рифме.

Своеобразие закрытой рифмы еще и в том, что она терпит лишнюю согласную между ударной гласной и замыкающей согласной (барс — вас).

Все сказанное выше относится к старой рифме и к рифме XIX века. В современной рифме, аналогично отмеченной нами в связи с опорными согласными, этого вопроса не существует.

Четыре исследования сборника рассматривают проблематику метрики.

Самый популярный размер русской метрики — ямб известен и в вольной форме, и используемый в сравнительно малых жанрах (ода, басня, идиллия, эпиграмма, мадригал, посвящение и др.). Предмет исследования С. А. Матяша — русский вольный ямб и, в частности, вольные ямбы Жуковского. Опираясь на статистический учет, автор путем сравнительного метода показал в своем труде влияние французского шестистопного ямба и немецкого четырех-пятистопного ямба на раннюю русскую метрику.

Исследование А. Н. Беззубова касается сравнительно редкого в русской поэзии размера — пятисложника, встречающегося как в народной поэзии, так и в творчестве отдельных поэтов. Особо изучены пятисложники Кольцова.

Оригинальная метрика Бальмонта привлекает внимание длинными размерами (восьмистопные хорей, ямбы и амфибрахия, четырехстопные пятисложники и т. д.). Размеры средней длины (четырёхстопный хорей и ямб, трехстопный дактиль, анапест и др.), характерных для основных представителей русской поэзии XIX века, в его метрике сравнительно меньше.

Л. Е. Ляпина объясняет эту особенность творческой природой Бальмонта (прямолинейный, замедленный ритм, стройный и звучный стих, мало переносов, простые интонационные схемы).

Метрический репертуар Н. Заболоцкого, который на основе статистического учета изучала Т. С. Царько-

ва, необычайно богат (42 размера). Поэт обращается как к монометрическим и полиметрическим размерам (которых у него сравнительно меньше. Однако в тогдашней русской метрике его удельный вес достаточно велик).

Автор изучает метрику Н. Заболоцкого поэтапно, в соответствии с развитием и характером творческого пути поэта.

Сборник «Исследования по теории стиха» интересен и с точки зрения библиографической. К нему прилагается составленный С. И. Гиндиным библиографический справочник исследований по общему и русскому стиховедению, относящихся к периоду с 1958 по 1974 год.

В отличие от библиографии М. Штокмара этот справочник носит систематический характер.

О международном признании русского стиха оповещает библиографический указатель И. К. Лилля и Б. П. Шерра — «Зарубежная литература по русскому стиховедению, изданная с 1960 г.», объединяющий труды 176 наименований.

«Исследования по теории стиха» — важное приобретение нашей филологической науки. Они будут способствовать развитию русского и общего стиховедения. Вместе с тем этот сборник может оказать помощь и исследователям грузинского стиха как в сфере сравнительного анализа, так и в исследовании собственно национальной версификации, в изыскании путей и методов, соответствующих современному уровню науки.

**«ЗВЕЗДОПАД». «Б
ПЛЕНУ У ПЛЕННИКОВ».
«ЖИЛА-БЫЛА
ЖЕНЩИНА»**

ЭТИ ТРИ романа Отиа Иоселиани вошли в только что выпущенную издательством «Мерани» книгу писателя, проза которого, как сказано в послесловии к ней Джансуга Гвинджилия, «с самого же начала характеризовалась столь желанной в литературе самобытностью, оригинальным почерком». По признанию критика, сразу стало ощутимо, что у О. Иоселиани своя творческая манера, свой взгляд на вещи, выделившие автора «Звездопада» из числа других грузинских прозаиков.

«Три его романа, — пишет далее Дж. Гвинджилия, — с которыми познакомится читатель на сей раз с помощью русского перевода, думается нам, скажут ему немало интересного». Они, как и другие его произведения — новеллы, пьесы и романы, излучают свет истинного таланта. Испытать на себе его воздействии русский читатель сможет благодаря труду переводчиков А. Старостина, Ф. Твалтвадзе и А. Эбаноидзе.

**«ВОЛШЕБНЫЕ
ГОРЫ»**

В СБОРНИКЕ стихов Арсения Тарковского впервые объединены выполненные за сорок лет по сути дела все

его грузинские переводы, включающие до пяти тысяч строк на уровне высокого напряжения, точности строгого мастерства, необыкновенной близости к духу и смыслу подлинника. Поэтом прекрасно воссозданы в русском стихе поэтические миры Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Карло Каладзе. Здесь — и стихи Ираклия Абашидзе, Григола Абашидзе, Реваза Маргиани, Анны Каландадзе. Плоды упорной работы переводчика над лирикой Важа Пшавела. Образы поэзии Рафиела Эристави и Галактиона Табидзе, Сандро Эули и Иосифа Нонешвили, Сандро Шаншиашвили и Михаила Квливидзе... А также ряд произведений грузинского фольклора и т. д. И почти все это, как отмечает один из составителей сборника и автор предисловия к нему Михаил Синельников — сам поэт, причастный к перевыражению на русский язык грузинской поэзии, «антологические образцы». По его мнению, в названии новой книги А. Тарковского наряду с другими мотивами и аспектами ощутимо «и обращение к тому огромному синтезу мировой культуры, который был достигнут в малом географическом пространстве и в долгом историческом времени родины Важа Пшавела. У русского поэта возникло чувство причастности к этой культуре и к этой стране,

желание быть ее гостем, другом, братом...»

И это действительно так. В книге «Волшебные горы» читатель найдет наряду с поэзией Грузии в переводе А. Тарковского и его избранные стихотворения. Их около девяти десятков. Радость новой встречи с поэзией этого большого мастера стиха доставило нам в эти дни все то же «Мерани».

«ОЧЕРТАНЬЯ ВЕЩЕЙ»

ЭТО — книга стихов Александра Межирова, поэта, столь близкого к Грузии, грузинской литературе, так много сделавшего и делающего для ознакомления русского, всесоюзного читателя с грузинской поэзией, которой он так предан и которой так щедро отдает и жар своей души, и свое высокое мастерство. Благодаря его переводческому подвигу в русской поэзии живут многие лучшие образцы современных грузинских поэтов. Близость к Грузии не прошла бесследно и для его оригинального творчества, что читатель заметит и в сборнике «Очертанья вещей», выпущенном в Москве издательством «Современник».

Как и каждая новая книга поэта, он, несомненно, привлечет самое пристальное внимание любителей поэзии и в нашей республике, тем более что в него вошли лучшие его лирические произведения о Великой Отечественной войне, лирические раздумья о мире, о человеке, времени, пронизанные верой в добро и справедливость жизни. Все стихи сбор-

ника распределены по следующим циклам или рубрикам: «С войны», «Люди сентября», «Браслет», «Баллада о цирке», «Лебяжий перулок мой».

«ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ». «МАЛЬЧИК И ЗОЛОТЫЕ ОБЛАКА»

ТАК НАЗВАЛ Владимир Алпенидзе свои повести-сказки, составившие его новую книгу, подготовленную в переводе на русский язык издательством «Мерани». В своеобразной форме повествует в них автор о древнейших истоках грузинской и русской азбуки — мхедрули и кириллицы. В очертаниях их букв отразились характерные свойства создавших эти азбуки народов. В них усматриваются мужество, трудолюбие, стремление к знаниям, к свету.

Книга пронизана духом интернационализма, братства, дружбы народов, неизбежно вытекающих из повествования, предназначенного для юного читателя. Повесть - сказка «Мальчик и золотые облака» в силу своего познавательного и воспитательного значения была удостоена в минувшем году медали имени выдающегося грузинского педагога и писателя Якоба Гогешвили.

«ДЕСЯТЬ ИЗ ТРИДЦАТИ»

АВТОР этих зарубежных очерков — известный журналист - международник Мэлор Стурра. «Размышляя над задачами и сущностью журналистики, публицистики, —

пишет он в своем кратком предисловии, — я все чаще сравниваю их с моментальной фотографией... У героев моих моментальных фотографий разные судьбы... В разности их судеб — закономерность истории... Как это ни парадоксально на первый взгляд, подлинно моментальная фотография не застывшая лава, а гераклитова река».

Название своей книги (редактор Г. В. Дейниченко, изд. «Мерани», 1978) автор объясняет тем, что в ней представлены некоторые работы лишь одного десятилетия из почти тридцатилетней его журналистской деятельности.

На броской суперобложке — черным по желтому фону, помимо имени и фамилии автора и общего названия, перпендикулярно к ним четко начертано: «Западная Германия», «Англия», «Соединенные Штаты».

Думается, эта объемистая книга, увидевшая свет на русском языке, привлечет внимание многих.

«СЦЕПЛЕНИЯ»

НАЗВАВ так свою книгу литературно - критически этюдов, Генрих Митин дает по этому поводу следующее пояснение: «Сцепление» точнее «связей» или, пожалуй, оно характеризует именно современное качество связей братских литератур».

А вот что говорит об этом автор вступления, предвещающего сборник, Нодар Думбадзе: «...Книга зиждется на высоких критериях, достойных высокого предмета — творческого содруже-

ства советских писателей России и Грузии».

Итак, это книга в основном о грузинской и русской литературах. Следовательно, адресована она читателям и Грузии, и России. Но вышла она в Тбилиси, в Грузии. На русском языке. В издательстве «Мерани». Название ее разделов, пожалуй, сможет дать хотя бы самое общее представление о направлении и характере раздумий известного критика. Вот они: «Современная жизнь», «Историческая жизнь», «Комическая жизнь», «НТР. Человек. Литература», «Факты и проблемы». И все это на материале прозы. «Почему эта книга о прозе...» и разъясняется автором в заключении такого названия.

«ОЖИДАНИЕ»

ЭТО — новая книга Армена Зурабова, знакомого русскому читателю по несколькими сборникам его рассказов. Здесь же — жанровые рамки расширены: помимо рассказов, как новых, так и ранее публиковавшихся, читатель найдет на этот раз и современную драматическую притчу «Лица», удостоенную премии на республиканском конкурсе, и документальную киноповесть «Рождение, или восхождение к истокам» о Мясникове, по которой снят и вышел на экраны одноименный двухсерийный фильм, и т. д.

Но в этой книге, как и ранее, пристрастия автора неизменны. Он все так же неистово привержен темам современности. И все так же неуклонно стремится пока-

зять неотрывность человека от извечных истоков добра.

И в этом нельзя не убедиться, читая рассказы циклов «Родники», «Поздняя весна на Сурамском перевале», «Полустанки», «Притяжение земли», а также «Три портрета» («Артем Саакян», «Трюк Симодо», «Учитель»), повесть «Татэв», «Лику», «Рождение» и наконец «Диалог писателя и режиссера», составившие эту книгу, изданную сейчас на русском языке «Мерани».

«АКАДЕМИК И. С. БЕРИТАШВИЛИ»

О характерных моментах жизни и деятельности этого основоположника грузинской школы физиологов и повествует Н. Н. Дзидзишвили — автор книги, выпущенной на русском языке издательством «Мецниереба» в этом году в Тбилиси. Им приводятся так-

же эпизоды из жизни этого маститого ученого, говорится с его заслугах перед наукой. Книга об академике И. С. Бериташвили снабжена иллюстративным материалом, помогающим воссоздать образ этого замечательного ученого и человека.

«ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?»

В ЭТОЙ РАБОТЕ Л. Л. Челидзе популярно излагаются некоторые проблемы, касающиеся понимания истории, ее соотношения с природой, а также говорится о своеобразии современной истории. Вкратце рассматривается автором и вопрос о смысле истории.

Книга эта, предназначенная для широкого круга читателей, вышла в этом году на русском языке в серии научно-популярной литературы, которую готовит издательство «Мецниереба».

БОГАТСТВО КРАСОК. РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧЕРКОВ

В выставочном зале Союза художников Абхазии открыта выставка произведений, посвященная 60-летию комсомола. Представлены все основные виды изобразительного искусства — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, — выполненные представителями всех поколений художников Абхазии. Состав участников многонационален. В основном работы посвящены памяти и сегодняшним славным делам комсомольцев. По творческой манере и художественному языку работы, представленные на выставке, весьма разнообразны. Но при всем разнообразии почерков и творческой индивидуальности произведения можно, в значительной степени условно, разделить на три основные группы. Прежде всего работы, созданные с использованием традиций, приемов народного, национального искусства Абхазии. Это работы художников В. Гагулия, Т. Авидзба, С. Габелия, Г. Корсантия, З. Джинджолия, В. Денисова, Т. Кучава, Л. Чаптурия, З. Шангуа, Р. Кация, Т. Ампар, В. Багателня, Л. Будяк, — Р. Парулава, Мухамед-Галиевой.

Превосходны живописные полотна художницы В. Гагулия. Ее «Натюрморт» впечатляет яркой сочной цветовой палитрой, радостным восприятием жизни. В картине «Сборщица чая» любовно переданы поэзия сельского труда, красота женщины - труженицы. Глубоко психологичен «Портрет Нестора Лакоба». Художница эмоционально, с большой любовью воспеваает природу и людей Абхазии.

Интересны работы художника Х. Авидзба. Удачно показаны красота сельского праздника, своеобразный национальный характер жителей в полотне «Свадьба в абхазской деревне». В «Портрете жены» автор достигает глубокого проникновения во внутренний мир человека.

Очень красочны, по-настоящему живописны совершенные по технике полотна С. Габелия «К горным пастбищам» и «Ремонт корабля».

Несомненно, удачны также такие работы, как чеканка «Бахус» Т. Кучава, декоративный рельеф «Ртвели» В. Денисова, вышивки Мухамед-Галиевой.

Вторая большая группа работ — произведения, созданные в традициях европейской реалистической манеры. Это произведения художников М. Эшба, Б. Бобырь, Н. Табукашвили, И. Цомая, А. Край-

нюкова, З. Адзба, Б. Гогоберидзе, И. Жулинского, В. Гамгия, О. Брендель, Г. Лакоба, И. Цомая, И. Кузнецова, Г. Мартиросян, Н. Писарчука, В. Бернадина, В. Кавиладзе, В. Шеглова, Р. Хочава, З. Шагуа.

Замечательны живописные картины и этюды художницы О. Брендель «В порту», «Красные деревья», «Дагестан», «Осенний пейзаж», «Сванетия» и др. Поэтично воспевают художница красоту природы полюбившихся ей уголков страны, в частности, Кавказа.

Пейзаж З. Адзба «Зима» насыщен лирическим чувством.

Заслуживает добрых слов живописец Н. Писарчука, его «Натюрморт», выполненный в стиле мастеров прошлых веков, полотно В. Гамгия «Комсомольцы на ударной вахте», скульптурные работы Г. Лакоба, В «Осени» в манере, близкой к древнегреческой, хорошо передана поэзия женской красоты. Поэтичен и наполнен изяществом «Портрет Вахтанга Джорджкия», своеобразна «Голубая женщина».

Поэтично, интересно по цвету полотно В. Арканья «Женщина с корзиной винограда».

Лиризм, тонкой эмоциональностью проникнут пейзаж Ш. Бокучава «Серый день».

Глубоко психологичны раскрывающие внутренний мир героев портреты В. Бубновой. В своих работах художница отбрасывает все лишнее, оставляя лишь те детали, которые помогают раскрытию характера.

Впечатляет оригинальный «Натюрморт» В. Цвижба, в котором и буйство цветения, и широкое красок.

Интересна по колористическому решению, глубине обобщения работа «Завод», созданная Р. Табукашвили в манере, близкой к конструктивизму.

Полотно Ш. Бокучава «У причала» привлекает насыщенностью колорита, романтикой дальних странствий.

Небезынтересна философски глубокая картина П. Чедия «Черный голубь». Черный голубь — традиционный символ траура народов Кавказа. Свою картину художник посвятил комсомольцам, павшим в боях Великой Отечественной войны.

Выставка в целом, несомненно, — заметное явление в художественной жизни автономной республики.

ЛИТЕРАТУРНОМУ ПАМЯТНИКУ—1500 ЛЕТ

В ТБИЛИССКОМ академическом театре оперы и балета имени З. Палиашвили состоялся юбилейный вечер, посвященный 1500-летию повести Якова Цуртavelи «Мученичество Шушаник».

Открывая юбилейный вечер, президент Академии наук Грузинской ССР Е. Харадзе тепло поздравил присутствующих с большим праздником грузинской и всей многонациональной советской литературы. В своей речи он особо отметил гуманистические идеи повести, патриотизм, подлинное уважение и любовь к другим народам.

С докладом «Яков Цуртavelи и его бессмертное творение» выступил директор Института истории грузинской литературы им. Ш. Руставели академик Академии наук Грузии А. Барамидзе. В своем

выступлении он дал глубокий научный анализ эпохи, предшествовавшей созданию одного из выдающихся памятников мировой агнографической литературы. «Мученичество Шушаник» предстает сегодня перед современниками как могучий пролог к новой грузинской литературе, расцветшей под солнцем Великого Октября.

В своей речи председатель правления Союза писателей Грузии Герой Социалистического Труда Г. Абашидзе отметил, что «сегодня созданы самые благоприятные условия для небывалого расцвета грузинской литературы и мы, грузинские писатели, верны ее традициям, будем и впредь верой и правдой служить нашему героическому времени».

На вечере также выступили старейшина грузинской науки академик Академии наук республики А. Шанидзе, академик-секретарь Отделения философии и филологии Академии наук Армянской ССР Г. Брутян, заместитель директора Института литературы имени Т. Шевченко Академии наук Украинской ССР Н. Жулинский и другие.

В заключение состоялся концерт мастеров искусств Грузии.

На юбилейном вечере присутствовали товарищи Э. Шеварднадзе, П. Гиладшвили, З. Патаридзе, З. Чхеидзе, Ш. Кикинадзе, Т. Ментешашвили, О. Черкезния, Ж. Шартава.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» Академии наук Азербайджанской ССР выпустило в свет поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на азербайджанском языке.

Перевод выполнен известным поэтом Ахмедом Джавадом еще в 30-х годах, однако он считался утерянным, и только благодаря многолетним стараниям старшего научного сотрудника Института истории литературы имени Низами Академии наук Азербайджанской ССР, известного ученого-картвелолога Дилары Алиевой поиск завершился успешно.

Автор предисловия к новому изданию Д. Алиева.

ИЗДАНО В ЯПОНИИ

ВИДНЫЙ японский ученый профессор Като Кюдзо перевел на японский язык этнографический очерк «Особа», произведение классика осетинской литературы, поэта, революционер-демократа Коста Хетагурова.

Профессор К. Кюдзо широко известен как автор работ, посвященных истории, культуре и жизни народов Кавказа.

Книга, изданная в Японии, богато иллюстрирована. Японским читателям представлена возможность ознакомиться с пейзажами горной Осетии, бытом и нравами горцев.

КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

В ВЕНГРИИ подготовлена к выходу в свет «Антология грузинской прозы». В издание включены «Мученичество Шушаник» Якова Цуртавели, произведения И. Чавчавадзе, А. Церетели, К. Гамсахурдиа, Г. Леонидзе, Г. Абашидзе, К. Лордкипанидзе, А. Сулакаури, а также других современных прозаиков.

Давние творческие контакты связывают венгерских и грузинских литераторов.

Недавно сотрудник Института истории грузинской литературы им. Ш. Руставели М. Саладзе завершила перевод двух пьес венгерских авторов. Пьесы Магды Сабо «Этот красивый солнечный день» и Иштвана Эркена «Лайош Тот и другие» будут поставлены на сценах двух театров Грузии.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» ЗА 1978 ГОД

Быть войны не должно никогда. V, 3.
 Во имя человека. IV, 3.
 Слово к нашим читателям. I, 3.

В ПРЕДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Союз труда и поэзии. X — XI, 3.

ПОЭЗИЯ

АБАШИДЗЕ Г. VI, 3.
 АБАШИДЗЕ И. I, 7.
 АРСЕНЕВА К. IX, 114.
 АФАНАСЬЕВА В. IX, 98.
 АХМАДУЛИНА Б. IX, 16.
 БАРАТАШВИЛИ М. III, 32.
 БЕРУЛАВА Х. IV, 65.
 ГАГУА Х. X—XI, 160.
 ГЕНИНА Н. IX, 87.
 ГОЛЬЦМАН Я. IX, 29.
 ДАДАШИДЗЕ И. IX, 50.
 ДЖАЛАГОНИЯ Н. VI, 60.
 ЕВТУШЕНКО Е. IX, 11.
 Из грузинского фольклора. VIII, 3.
 КАЛАДЗЕ К. I, 148; X—XI, 20.
 КАХИДЗЕ М. III, 162.
 КВИТНИЦКАЯ Е. IX, 55.
 КВЛИВИДЗЕ М. II, 60.
 КОРИНТЭЛИ К. IX, 67.
 КОРОТИЧ В. X—XI, 16.
 КОСТЫЛЕВА В. IX, 95.
 КРАСКО В. IX, 70.
 КУДИМОВА М. IX, 81.
 ЛЕОНОВИЧ В. IX, 24.
 МАРГИАНИ Р. II, 19.
 МОРИЦ Ю. IX, 48.
 НЕРЛЕР П. IX, 85.
 НОНЕШВИЛИ И. XII, 40.
 ПЕТРИАШВИЛИ Г. IV, 96.
 СУЛАКАУРИ А. III, 4.
 ТАРБА П. IV, 8.
 ТАРБА Н. III, 78.

ТЕМИН Л. IX, 54.
 ТОПАЛЬСКИЙ С. II, 26.
 ХАРАНАУЛИ Б. V, 82.
 ЦЫБУЛЕВСКИЙ А. IX, 118.
 ЧАРКВИАНИ Дж. V, 20.
 ЧИЛАДЗЕ О. VII, 3.
 ШИРОКОВ В. IX, 63.

ПРОЗА

АБАШИДЗЕ М. Факелы, Квизимодо! VII, 65.
 БАКАНИДЗЕ Г. Сорок дней, сорок ночей. Хлеб. III, 54.
 БАЛАРДЖИШВИЛИ Б. Калейдоскоп. III, 34.
 БИБИЛУРИ Т. Маска. Тихий угол. Прощание. III, 8.
 БЫКОВА Е. Вулкан Тятя. IX, 74.
 ГЕГЕШИДЗЕ Г. Гость. XII, 46.
 ГОДЕРДЗИШВИЛИ Т. Как пойманная птица. X — XI, 167.
 ДУМБАДЗЕ Н. HePados. II, 3. Откуда в городе ястреб? VIII, 14.
 ИНАНИШВИЛИ Р. I, 16.
 КОБИДЗЕ Р. Листья папоротника. VIII, 21; IX, 142; X — XI, 119.
 НАТРОШВИЛИ Т. От Машрика до Магриба. VIII, 51.
 ОГАНОВ И. Павана мавра. IX, 90.
 ОСИНСКИЙ В. Звезды, в лицо летящие. VI, 65.
 РИЖИНАШВИЛИ У. Три расказа. II, 64.
 ЦИЦИШВИЛИ Г. Преображение. VI, 30; VII, 12.
 ЦУЛЕЙКИРИ Н. Камень Давида Стронтеля. II, 28.
 ЧИЛАДЗЕ О. Шел человек по дороге. X—XI, 24; XII, 10.
 ЧХЕИДЗЕ О. Ветер, которому нет имени. IV, 12; V, 22.

ОЧЕРК

- АНДРОНОВ И. Узник Заксенхаузена. IV, 79.
- БРАЙЛОВСКАЯ Л. Маршрутом Тициана Табидзе. I, 111.
- ДАВИТАШВИЛИ М. «Строитель новой Грузии». X — XI, 214.
- ДАВЛИАНИДЗЕ Д. В краю, где только романтики... VI, 152.
- ЕГОРОВ Л. Гарм просит защиты. III, 132.
- ЕЛИГУЛАШВИЛИ Э. После балла. III, 154.
- КАДЖАЯ В. По закону братства. V, 148.
- НИШНИАНИДЗЕ Г. Маленький эпизод из большой биографии. VII, 133.
- ПЭТРИШОР М. Прекрасная Грузия. X—XI, 226.
- РАТИАНИ З. Президент республики. IV, 70.
- СИГУА А. Дом на улице Табидзе. III, 122.
- ТАБИДЗЕ Т. От Риони до Ингури. I, 105.
- ШАВЛИАШВИЛИ М. Худони. VIII, 133.

1500 ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- БАРАМИДЗЕ А. Древнейший памятник грузинской литературы. I, 59.
- ГУРАМИШВИЛИ Д. Новые переводы. IV, 124.
- ДЖАВАХИШВИЛИ И. Человечество в древнегрузинской действительности и литературе. III, 82.
- МАРР Н. Из «Введения» к «Житию Григория Хандзтийского». II, 143.
- МЕРЧУЛЕ Г. Житие Григория Хандзтийского. II, 147.
- ОРБЕЛИАНИ Г. Лик царицы Тамар в Бетанийском храме. Плачущей Нине Чавчавадзе. VII, 118.

- ТЕВЗАДЗЕ Г. Космология Руставели. XII, 122.
- ЦАИШВИЛИ С. Второе рождение памятника. II, 135.
- ЧЕЛИДЗЕ В. Рамки. I, 65.
- ЧИЛАДЗЕ Т. «Мученичество Шушаник» Якова Цуртавели. I, 80.

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- АДЕИШВИЛИ И. Взыскательность большого художника. IV, 118.
- АСАТИАНИ Г. Наследие великого эстонца. II, 162. Два этюда о мастерах: Алмазное слово Гоглы. Щедрая лоза Симона. IV, 103.
- БЕЛОВ С., К. Бальмонт о Достоевском. IX, 105.
- БЕНАШВИЛИ Г. Читая «Древо жизни»... XII, 98.
- БУЧИС А. «Бессюжетность» действительности и проблемность литовской прозы. VIII, 106.
- ВАСАДЗЕ А. Внимая образам мелодий. X—XI, 243.
- ГВЕРДЦИТЕЛИ Г. Неодолимость любви. II, 83.
- ГУГУШВИЛИ Э. «...И в любви, в беспокойстве, в тоске...», VI, 134.
- ДОИАШВИЛИ Т. Поэт и традиция. VII, 102.
- МАРГВЕЛАШВИЛИ Г. «Свидетельствует вещей знак...». IX, 3. С мужеством и правдою в груди. IX, 34.
- МИТИН Г. Смеющийся да задумывается. Три этюда о современном литературном юморе. I, 117.
- НАТРОШВИЛИ Г. Белая осина. XII, 92.
- ПАФОС СОПРИЧАСТНОСТИ. С украинскими коллегами беседует критик З. Абзанидзе. I, 128.
- ЧОЛОКАВА Н. Взгляд в прошлое из дня сегодняшнего. VIII, 125.

- ЧХЕНКЕЛИ Т. Сонеты Шекспира по-грузински. VI, 149.
ШКЛОВСКИЙ В. Толстой на Кавказе. IX, 99.

ПУБЛИЦИСТИКА

- МАГРАДЗЕ Э. С думой о людях. VI, 23.
МАРГВЕЛАШВИЛИ Г. Чистый источник. VI, 11.
МАЧАВАРИАНИ В. Книжки, которые учат побеждать. XII, 3.
ЗЕНКОВИЧ В. Море угрожает. X—XI, 230.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

- БАЛУАШВИЛИ В. Крепя союз сердец. V, 137.
МЕГРЕЛИДЗЕ Г. Страницы дружбы. X—XI, 251.
РЕВИШВИЛИ Ш. «...Ценю грузинскую культуру, особенно литературу», IV, 132.

НАШИ ОТКЛИКИ

- ДЖАПАРИДЗЕ Р. «Горгасали». VIII, 131.
ТУХАРЕЛИ Д. Разрабатывая проблемы многонациональной советской литературы. V, 154.

РЕЦЕНЗИИ

- ГЕРШТЕНБЛИТ А. Книжки грузинских писателей на польском языке. VII, 111.
ДЖАПАРИДЗЕ Р. Месхетская эпопея. III, 108.
ДОЧАНАШВИЛИ Г. Свечение добра. II, 93.
ЛАПЕРАШВИЛИ В. Очерк о грузинской фронтовой поэзии. VII, 116.
ТУРНАВА С. По страницам «Ревю-де-Картвелоложи». VII, 113.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

- ЖОРДАНИЯ С. Лингвистические проблемы художественного перевода. III, 140.
ЛЕОНОВИЧ В. Радость неизвестности. II, 104.
МОРИЦ Ю. Точный перевод? Верный перевод? XII, 105.

ИСКУССТВО

- АЛЕКСИДЗЕ Д. Романтика театра. IV, 139.
БЕСТАВАШВИЛИ А. Где искать волшебное дерево? I, 167.
ГВЕРДЦИТЕЛИ Г., ГВЕРДЦИТЕЛИ Р. Союзник или соперник? VII, 145; VIII, 139.
ДЗУЦОВА И. Судейкин в Тбилиси. I, 176.
ДОЛИДЗЕ Г. Новая жизнь. «Дон Кихота». IV, 143.
МШВЕЛИДЗЕ А. Служитель музыки. IX, 134.
ШАРАДЗЕ Г. Михай Зичи и Грузия. III, 175.
ЭЛИЗБАРАШВИЛИ Н. С. М. Городецкий — художественный критик. IX, 125.

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

- АХПАТЕЛОВ К. В старом цирке. XII, 113.
БЕЖАНОВ Ш. Рассказывают яснополянские крестьяне. X—XI, 296.
ГОЗАЛИШВИЛИ Ш. По следам одного документа. X—XI, 294.
КОБАЛАДЗЕ Т. Мост дружбы. IX, 8.
МАСЛЕНИКОВА З. Портрет поэта. X—XI, 267.
ПЕРЦОВ В. Мой Бесо (к 75-летию со дня рождения Бесо Жгенти). VII, 141.
ЦВЕРАВА С. Сердце по-комсомольски бьется... XII, 109.

**К 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА**

- КИРЮХИН А. Десять дней того октября. II, 122.
НЕМИРОВА М. В бою и в науке — на переднем крае. II, 116.
ПАЙЧАДЗЕ Г. Плечом к плечу. II, 130.

**К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ
ЧАВЧАВАДЗЕ**


- ДЖИБЛАДЗЕ Г. Илья Чавчавадзе. V, 107.
КАНКАВА Г. Созвучность современности. VI, 114.
КИКОДЗЕ Г. Традиции грузинской культуры и Илья Чавчавадзе. V, 94.
КОРОТИЧ В. Эстафета свободы неодолима! У, 135.
ТАБИДЗЕ Н. Содействуя прогрессу родной страны. V, 127.
ЦАИШВИЛИ С. Поборник возрождения родного народа. VI, 169.
ЧАВЧАВАДЗЕ И. Стихи. V, 96.

**К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Н. Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО**

- НИКОЛАДЗЕ А. Неизвестная рукопись А. Н. Пыпина о Н. Г. Чернышевском. VII, 121.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

- АБАШИДЗЕ Г. «Держать!» — призывал Чаренц (к 80-летию Егише Чаренца). III, 151.
АСАТИАНИ Г. Слово о Поэте (к 60-летию Кайсына Кулиева). I, 146.

ЗЛАТКИН М. «Чтобы понять наш духовный мир...».  XI, 302.

**ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ И
ЭСТЕТИКИ**

- КАКАБАДЗЕ З. Искусство и жизнь. III, 163.

НАУКА

- ДЗИДЗИГУРИ Ш. Баски и грузины. I, 150.

НОВЫЕ КНИГИ

- АЛИЕВА Д. Первая попытка освоения большой темы. X—XI, 258.
КОРАНАШВИЛИ Г. В чем же причина упадка античной цивилизации? IV, 152.
МИРЦХУЛАВА Б. По пути поиска и открытий. X—XI, 266.
СТУРУА Д. Слово о современнике. X—XI, 257.
ХИНТИБИДЗЕ А. «Исследования по теории стиха». XII, 145.
ХРИСТЕСАШВИЛИ М. Портрет художника и гражданина. IV, 147.

ХРОНИКА

- I, 191; II, 188; III, 189; IV, 157; V, 158; VI, 159; VII, 158; VIII, 158; IX, 159; X—XI, 317; XII, 152.

**АННОТАЦИИ
«ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГРУЗИИ»**

- I, 185; II, 165; III, 184; IV, 156; V, 156; VI, 157; VII, 155; VIII, 156; IX, 158; X—XI, 312; XII, 148.

БЕНАШВИЛИ Гурам Дмитриевич. Род. в 1940 г. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории грузинской литературы имени Шота Руставели. Автор ряда статей, посвященных современной грузинской литературе.

ГЕГЕШИДЗЕ Гурам Шалвович. Род. в 1934 г. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета и Высшие сценарные курсы в Москве. Печататься начал в 1957 г. Автор нескольких романов и сборников рассказов. На русском языке в 1975 г. вышла его повесть «Расплата».

НАТРОШВИЛИ Георгий Константинович. Род. в 1910 г. Грузинский советский писатель. Автор многих прозаических книг, изданных не только на грузинском, но и на русском языках. Недавно на грузинском языке вышел его двухтомник (в первый том вошли художественные произведения, во второй — публицистика), на русском — сборник рассказов «Есть в поле озеро». Главный редактор ежемесячного литературно - художественного и

общественно - политического журнала «Мнатоби» (орган Союза писателей Грузии).

ТЕВЗАДЗЕ Георгий Артемьевич. Род. в 1914 г. Доктор физико - математических наук, профессор. Автор большого количества работ в области астрономии и небесной механики, посвященных фундаментальному определению астрономических пунктов, исследованию цапфпассажного инструмента Бамберга, устойчивости тройной системы звезд типа трапеции, угловой скорости центра инерции двух тел в задаче трех тел и т. д.

За одну из двух новых открытий им комет Г. А. Тевзадзе награжден Тихоокеанским астрономическим обществом медалью имени «Донохое».

ХИНТИБИДЗЕ Акакий Георгиевич. Род. в 1924 г. Доктор филологических наук. Работает в области грузинской поэтики. Автор целого ряда научных трудов по грузинскому стиховедению, вышедших на грузинском языке книг «Вопросы поэтического искусства» (1961), «Вопросы стиховедения» (1965), «О природе грузинского стиха» и др.

Сдано в набор 29 ноября 1978 г. Подписано к печати 8 января 1979 года. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

საგარეო ურთიერთობების
სამსახური
№ 60
გამომცემი 1979
30/1 პირო
— * —

26-78

79-60
საქართველოს
ბიბლიოთეკა

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ კპ ცკ-ის გამომცემლობა